

«Петербургский дневник» представляет

Федор  
Абрамов



Книга Абрамова «О войне и Победе» долговечна. Она обращена к нам и будущему, ибо в ней звучат вечные вопросы — о смысле жизни, о назначении человека, об ответственности каждого из нас за свои устремления, за свою судьбу...



О войне  
И ПОБЕДЕ

Писатели на войне, писатели о войне

Писатели на войне, писатели о войне

Федор Абрамов  
**О войне и победе**

«Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга»

2015

УДК 82  
ББК 63.3(2)622

**Абрамов Ф. А.**

О войне и победе / Ф. А. Абрамов — «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга», 2015 — (Писатели на войне, писатели о войне)

ISBN 978-5-91498-078-5

Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные произведения Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе, в том числе ранее не публиковавшиеся материалы из рукописного архива писателя.

УДК 82  
ББК 63.3(2)622

ISBN 978-5-91498-078-5

© Абрамов Ф. А., 2015  
© Информационно-издательский центр  
Правительства Санкт-Петербурга, 2015

## Содержание

«Какие уроки мы вынесли из войны?»	6
<b>РАССКАЗЫ</b>	9
В сентябре 1941 года	9
Молодой командир	14
Из фронтовой жизни	15
Белая лошадь	16
Бревенчатые мавзолеи	19
А война еще не кончилась	20
Потомок Джима	22
<b>ПОВЕСТИ</b>	26
Разговор с самим собой	26
Кто он?	41
<b>ИЗ ЦИКЛОВ «ТРАВА-МУРАВА» И «БЫЛИ-НЕБЫЛИ»</b>	48
Вкус победы	48
Отрывка войны	49
Хлебная корка	50
Бабий разговор	51
Офимьин хлебец	52
Фотография	53
В день Победы	54
Медное колечко	55
Памятка	56
Зарок блокадницы	57
Из войны	58
Ужасы блокады	59
Свой парень	60
Старый финн	62
День Победы в Пекашино	63
<b>Статьи. Выступления</b>	71
Выступление на филологическом факультете ЛГУ	71
Ольга Берггольц	73
Александр Твардовский	75
Мы и сегодня живы ими	76
Быть достойным их памяти	77
Самый великий праздник – день Победы	78
Русская женщина достойна самых великих памятников	79
Из статьи «Мощь и дерзость. О выставке произведений Евсея Моисеенко»	80
Ответ читателям	81
<b>ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК</b>	82
Частушки времен войны	82
Из дневника 1943 г	83
День Победы в Петрозаводске	86
Стойкость	92
О героизме женщин в тылу	93
О материнской любви	94

О героизме	95
Романтика жизни и романтика книги	96
Бессмертный	97
О мысли, психологии солдата на войне, в окопе	98
Картинка	99
Встреча	100
К рассказу «На поле боя»	101
Новгородчина	110
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ АБРАМОВЕ	112
Страница незабываемой молодости	112
Одна зима	119
На войне и после	131
Суровые и светлые годы филфака	134
Приложение	148
О службе Ф. А. Абрамова в органах контрразведки	148
КОММЕНТАРИИ	153

# Федор Абрамов

## О войне и победе

### «Какие уроки мы вынесли из войны?»

Предлагаемая книга впервые включает все художественные и документальные материалы Федора Абрамова о Великой Отечественной войне и Победе. Среди них – уникальные дневниковые записи времен войны (1942–1945) и последующих лет (1946–1983), глава из романа «Две зимы и три лета», повести, рассказы, большей частью незавершенные, но не менее значимые, свидетельствующие о многолетних размышлениях писателя о минувшей войне. И наконец, страстное публицистическое слово Абрамова, посвященное героям Отечественной войны, живым и погибшим, рядовым и знаменитым. Везде он убеждал нас: «жить и работать по высшим законам совести и справедливости, с сознанием вечного и неоплатного долга перед погибшими».

Личный опыт Абрамова военных и послевоенных лет был широк и многообразен. Он пережил мужество, героизм и трагедию защитников Ленинграда, блокадную зиму и не менее страшные «беспрерывные сражения баб, подростков и стариков в тылу», где «снаряды не падали, не рвались. Но работа на износ и за себя и за мужиков, ушедших воевать, голод, разутость и раздетость... похоронки... безотцовщина».

Прежде всего писатель считал своим долгом рассказать именно об этой страшной военной и послевоенной трагедии миллионов простых тружеников. О том – знаменитая тетралогия «Братья и сестры», равная по масштабу «Войне и миру» Л. Толстого.

Вспомним подробнее военную биографию Абрамова, которая во многом определила его писательское призвание, многолетние поиски ответов на самые трудные вопросы эпохи: Какие уроки мы вынесли из войны? Почему Победитель плачет? Как жить, что делать, чтобы Россия, народ, человек обрели достойное духовное и материальное существование?

В июне 1941 года с третьего курса филологического факультета ЛГУ ушел Федор Абрамов добровольцем в народное ополчение защищать Ленинград вместе с другими студентами. Он был дважды тяжело ранен (в сентябре и ноябре 1941 года), чудом уцелел на поле боя, в блокадном госпитале и при переправе через Ладогу по Дороге жизни (февраль 1942 г.). Долечивался в тыловых госпиталях. Пережитое нашло отражение в незавершенных рассказах: «В сентябре 1941 года», «Молодой командир», «Белая лошадь», который он хотел посвятить погибшим сокурсникам.

В отпуске по ранению (с 11 апреля по июль 1942 года) он проживал на родном Пинежье, работал учителем литературы в Карпогорской школе. В июле 1942 года снова был призван в армию, служил до 1 февраля 1943 года в 33-м запасном стрелковом полку г. Архангельска. Затем до 20 апреля 1943 года – курсант Военно-пулеметного училища, откуда был призван на службу в Особый отдел НКВД Архангельского военного округа. С 4 августа 1943 года до 29 сентября 1945 года – следователь и старший следователь в Следственном отделении контрразведки «Смерш» Архангельского и Беломорского военного округа. Уволен из органов «Смерш» и демобилизован для завершения высшего образования в октябре 1945 года.

В 2002 году материалы контрразведки «Смерш» были рассекречены и личное дело Абрамова было передано работниками ФСБ Архангельска в Литературно-мемориальный музей Ф. А. Абрамова в Верколе и мне лично. Тогда впервые стали известны подробности работы Абрамова в «Смерш» (см. публикуемую в приложении статью А. Кононова «О службе Ф. А. Абрамова в органах контрразведки»). Из личного дела мы узнали, что о возвращении Абрамова

на учебу в ЛГУ специально ходатайствовал ректор ЛГУ профессор А. А. Вознесенский (см. фотокопию документа).

Между тем долгие годы было немало нареканий и даже обвинений писателя Абрамова за его работу в «Смерш». Новые материалы и главным образом незаконченная автобиографическая повесть «Кто он?» многое проясняют и доказывают, какое мужество и героизм проявил тогда Абрамов, отстаивая справедливость и освобождая невинно заключенного под угрозой собственной гибели. Выдержав все муки и испытания военных лет, Абрамов и в последующие годы оставался мужественным бойцом за правду и справедливость. Он не только нас, но и себя, свои дела заставлял проверять подвигом защитников Отечества. В трудные минуты он обращался к памяти погибших товарищей. О том свидетельствуют дневниковые записи, помещенные в книге.

Постоянно осмысляя уроки прошлого, уроки войны и Победы, он задавал себе, друзьям и читателям вопрос: а так ли мы живем? В дни Победы он всегда вспоминал погибших друзей, радовался, что остался жив, но и негодовал, возмущался, что не подсчитаны все жертвы войны, не восстановлена в стране справедливость, не достигнута достойная жизнь миллионов.

Размышления Абрамова в дни Победы, нередко горестные, звучат актуально и сегодня:

«Да что же это такое? Да, немцы нас не разбили, а бюрократизм, может быть, и разобьет» (10 мая 1969 г.).

«Но вот извечная трагедия Руси: внешних врагов победили, а своих... А свои победили ее» (5 мая 1979 г.).

«35 лет Победы. Каковы итоги? В магазинах шаром покати – ничегошеньки... В народе шутят: что есть праздничного? Газеты.

Да, год от года все хуже и хуже... Знают ли об этом наверху? А что им знать? У них свой, особый мир. У них все есть. Народу плохо? Да народ быдло. А русский народ вдвойне: все простит. Знают, знают там эту присказку: все вытерпим, все перенесем, лишь бы войны не было.

О, бараны бестолковые. Именно потому-то и будет война, что вы все терпите» (9 мая 1980 г.).

К сожалению, многие произведения Абрамова о войне остались незавершенными. Потому особенно значимы многочисленные заметки, а также публикуемые в приложении варианты к ним. Прочтите их внимательно. В них звучит голос Абрамова – мыслителя, гражданина, озабоченного судьбой России, народа, человека.

Писатель всегда восставал против прямолинейной оценки нашей истории. И в осмыслении войны, народного подвига, он пытался не только воздать должное невиданному героизму, но и осознать те ошибки, просчеты, ту неподготовленность к войне, которые привели к гибели миллионов, к послевоенным бедствиям. Пожалуй, никто так смело не сказал о трагической сути народного подвига, как Абрамов в заметках к повести «Разговор с самим собой».

Осмысляя поведение и судьбу рядового газетчика Анохина, беззаветно преданного Родине и безоглядно выполнявшего все приказы, Абрамов увидел в нем «массовую основу культа». «Выиграли войну благодаря его героизму и благодаря его ограниченности и фанатической вере (наплевать на жизнь) – культ» (22 ноября 1964 г.). Еще глубже осмысление героя в заметке от 13 февраля 1971 года: в фигуре Анохина «его всегда поражали две вещи: сила, преданность и в то же время политическая наивность, бескультурие, которые оборачивались иногда бездушием, автоматизмом и даже слепотой». И не есть ли эти две черты в характере героя, «человека очень типичного для эпохи, ключ к пониманию наших слабых и сильных сторон вообще, наших великих побед на войне и в мирной жизни, так и не менее великих промахов, провалов и бед?»

В заметках к этой же повести Абрамов восставал против полуправды, всегда ненавистной ему, в книгах писателя Сойманова. «Написал о блокаде: наполовину ложь, наполовину

правда... облегченно написано. Хвалили... За то, что нет отчаяния. За то, что светлая блокада. Блокада чуть ли не радость». И там же Абрамов объяснял, почему Сойманов загубил свой талант: «У него не хватило мужества сражаться за истину».

Кстати, именно потому, что о Ленинградской блокаде нельзя было сказать всей правды, Абрамов отказался в конце 1960-х годов от предложения Алеся Адамовича написать совместно «Блокадную книгу». Только тогда Адамович обратился к Д. Гранину.

Трезво оценивал Абрамов и свое поколение: «Какие мы были чистые, возвышенные!.. Но и ограниченные!» И потому, обращаясь к новому поколению, к молодежи, он призывал их быть такими же самоотверженными и увлеченными, но одновременно более мудрыми и трезвыми «в понимании жизни, повседневного бытия». За все послевоенные бедствия Абрамов возлагал вину не только на правителей, чиновников, бюрократов, но и на самих граждан, на рядовых тружеников, которые проявляли героизм в борьбе с фашизмом и не сумели противостоять недальновидным и даже преступным действиям власть имущих, неразумным социально-экономическим реформам, забвению подлинных духовных истин и ценностей.

Писатель был уверен: не только господствующие кланы, но и миллионы людей, их настроения, их требования, их поведение, верования и заблуждения определяют ход истории.

Книга Абрамова «О войне и Победе» долговечна. Она обращена к нам и будущему, ибо в ней звучат вечные вопросы – о смысле жизни, о назначении человека, об ответственности каждого из нас за свои устремления, за свою судьбу и тем самым за все происходящее в стране и в мире.

Абрамов неустанно повторял: возрождение России, путь социальных реформ без нравственного, духовного оздоровления нации «не может дать должных результатов». Две силы должны править миром, убеждал он, – закон и совесть.

*Л. Крутикова-Абрамова*



## РАССКАЗЫ

### В сентябре 1941 года

Разговор зашел о войне... Моего приятеля попросили рассказать историю его ранения...

– Руку я потерял совсем глупо. Под действием нелепого, минутного филантропизма. Меня беспрестанно мучит это ребячество, этот глупейший романтический поступок. Если бы еще знать, что та, ради кого я это сделал, была жива! Но ужасно, что я ничего о ней не знаю. Впрочем, вступления излишни. Одно скажу: руку свою я не положил на алтарь нашей победы.

Это было в сентябре 1941 года под Ленинградом. Я тогда командовал взводом. Бойцы у меня были ленинградские студенты. Дрались яростно и смело. В последних числах сентября наш полк был разбит. Помню последний день: бой шел в районе одной реки. Мы уже несколько дней держали оборону. Зеленые цепи немцев, как лава, беспрерывно набегали на нас. 14 атак в день! Все кругом заволочло дымом. Сзади нас горели деревни и леса. Посмотришь туда – стая рыжих зверей рыщет и несется на нас. Солнце от дыма и пыли, казалось, истекало кровью. Мы, как кроты, зарылись в берег реки, мы приросли к земле. Уже два дня у нас не было связи с тылом. Патроны и снаряды кончались. Люди не ели двое суток. Но как только пьяная немецкая сволочь бросалась на нас, мы расстреливали ее у самых окопов, бросались в штыки и опрокидывали. Это был сущий ад...

Самое ужасное – у нас выходили припасы. Был отдан приказ стрелять только с двухсот метров. Работало только три пушки. Остальные молчали. От полка к тому времени осталось человек двести. Остальные пали в этом страшном по напряжению бою.

Они валялись тут же, между нами, искалеченные, грязные, обожженные. Особенно были страшны их лица: распухшие, синие, желтые, с ледяным оскалом мертвого рта!

Смерть товарищей ожесточила нас. Мы решили погибнуть все до единого, но не отступать. А собственно, отступать и некуда было. В два часа дня разведка донесла, что путь к отступлению отрезан.

Замолкла еще одна пушка. К концу дня осталось человек двадцать. Часов в пять меня вызвал комиссар полка. Это был длинный худой человек. Еще недавно его живое лицо, когда он рассказывал студентам о золотом веке Рима, сейчас было каменным. Он стоял в окопе с непокрытой головой. Я впервые заметил, что она у него совсем белая. Он смерил меня твердым взглядом и сказал:

– Через несколько часов нас не будет. Вы должны прорваться через окружение и передать эту записку в штаб дивизии...

Я пытался возражать. Мне было мучительно больно оставлять своих товарищей. Я был недоволен выбором комиссара. Но он с несвойственной ему суровостью сказал:

– Идите, не теряйте времени. – И когда я пошел, он добавил:

– Если останетесь живы, расскажите о нас.

Больше я его не видал.

Меня сковала какая-то болезненная слабость. Ноги подкашивались. Хотя я не скажу, чтобы я тогда трусил. Нет! Просто меня охватывал ужас при мысли о том, что я должен навсегда расстаться с людьми, которые были для меня роднее родного брата, к которым я прирос душой и телом. Страшно было подумать, что через час, а может быть, меньше, падут последние товарищи, что над их телами будет глумиться каннибальская орда немцев. Я видел, что сопротивление наше слабеет. Оставшиеся в живых десятка два бойцов, оглохшие и ослепшие от боя, озверевшие от кровавого чада, делали отчаянные усилия, чтобы отбить наседавших немцев. Почти все они были ранены, кто в руку, кто в ногу, и в промежутках от стрельбы,

захлестнутые болью, корчились и как-то глухо, словно из земли, стонали, скрежетали зубами и отплеывались. Никто не говорил, ибо это было бы расточительством сил. Приговоренные к смерти, они дорого решили отдать свою жизнь. Это зловещее, предсмертное молчание людей в адском грохоте боя – страшная моральная пытка.

С минуту я колебался. Сердце подсказывало – не уходи! Приказ требовал – иди! Приказ взял верх. Я боялся своим неповиновением, хотя вполне понятным, вызвать гнев комиссара.

Я не мог заставить себя проститься с товарищами. Я боялся их глаз. В них, вероятно, плескалась смерть. Они бы пригвоздили меня, я не смог бы вопреки всем доводам рассудка покинуть этих родных смертников. Я засунул за пазуху пару гранат, заткнул за голенище штык от самозарядки и, не оглядываясь, пополз к реке. Вдавливая тело в землю, подтягиваясь на руках, перебегая от воронки к воронке, я дополз до реки. Пот заливал меня, грязь, как панцирь, облепила мое тело. От грохота я совершенно оглох, от огня ослеп. Я вплавь перебрался через реку. Когда вышел на противоположный берег, немцы, вероятно, заметили меня, потому что мины и снаряды буквально изрыли и иссекли все вокруг меня. Мне пришлось залечь в кусты и выжидать. Стало темнеть. Когда я так лежал, мне послышалось, что там, где мои товарищи дрались, два-три голоса запели «Интернационал». Потом я, кажется, слышал крик комиссара: «Ура!» Потом уже ничего нельзя было слышать. Все потонуло в вое и грохоте.

Я снова пополз вперед. Стало совсем темно. Бой сзади затихал. Видимо, последние из наших пали. Не знаю, долго ли я так полз. Своим ориентиром я избрал горящую деревню, которая была от меня в километрах трех-пяти. Это было зловещее зрелище: в кромешной темноте целое море огня. В воздухе летали горящие бревна. По-видимому, ее подожгли немцы, и бой сейчас шел за нее. Я решил пробраться туда в надежде найти штаб дивизии. Не знаю, долго ли я полз. Когда стемнело, я встал и пошел во весь рост. Нервная нагрузка была столь велика, что я еще не вполне давал отчет в происшедшем. Голодный, измятый, будто выплюнутый из пасти самого сатаны, я шел, как лунатик. Отчаянное безразличие овладело мною. Путь мой был невероятно опасен. Каждую секунду я мог взлететь на воздух. Потому что мины там были зарыты всюду. Но я тогда об этом не думал. Одна мысль сверлила меня: «Идти, идти... Только вперед».

Когда я переваливал через один холмик, мне послышалось, будто в стороне от меня кто-то стонет. Я остановился. Да, это был стон – слабый, почти детский, приглушенный. «Наверно, раненый», – подумал я и, вынув гранату из-за пазухи, осторожно пополз на стон. Я не ошибся. Когда я был метрах в пяти от раненого, где-то в стороне вспыхнула ракета, и я увидел маленького человека в красноармейской форме. Он лежал навзничь, как распятый, без сознания. Это была девушка, маленькая, тоненькая. В темноте нельзя было разглядеть лица. Рядом с ней валялась санитарная сумка. Значит, она – сестра. Я отыскал ее руку и стал искать пульс. Рука была маленькая, теплая. Она просто таяла в моих руках. Под моими пальцами слабо забила жила.

Я нашел ранение. Левый рукав разбух от крови. В санитарной сумке не было ни одного бинта. Что делать? Я расстегнул ремень, сбросил с себя фуфайку и кинжалом вырезал весь перед своей нательной рубашки, потом разрезал рукав ее гимнастерки и кое-как перевязал ее руку. Она все слабо стонала. Но рана была небольшая. Вероятно, ее ранило осколком мины и контузило разрывной волной.

Положение мое было трудное. Я не мог бросить раненую сестру, но и не знал, что с ней делать. Нести ее на себе? Но куда? А вдруг я попаду в лапы к немцам? Что тогда будет с ней? Но оставлять тоже нельзя. В конце концов я взвалил ее на себя и пошел вперед. Удивительное дело – идти мне стало легче, как это ни парадоксально. Не знаю, сколько нес ее – может, километр, может, два.

Горящая деревня впереди стала вырисовываться четче. Там было светло как днем. На улицах можно было различить маленькие фигурки бегающих людей. В общем хаосе воя и гро-

хотя я выделил звуки нашего и немецкого пулеметов. Значит, там дрались наши. Я уже стал было размышлять о том, с какой стороны деревни наши, с какой немцы, как вдруг почувствовал, что шагнул в пустоту, и в ту же секунду свалился в какую-то яму. Я упал очень больно. Но боль во мне заглушил тяжелый стон девушки. Я ее придавил. Когда я встал и поднял на руки девушку, я увидел, что яма была окопом. Внезапно начался бурный дождь. Дальше идти вдвоем было опасно. Можно было попасть к немцам. Моментально возникло решение: найти землянку, которая непременно должна быть возле всякого окопа, оставить девушку, а самому разведать путь и еще затемно возвратиться сюда, чтобы вынести девушку.

Не теряя ни минуты, по-прежнему с девушкой на руках я стал исследовать окоп. Окоп оказался длиной метров в пятьдесят, и в конце его, как я и рассчитывал, была землянка. Я ошупью открыл двери и почти ползком влез в нее. Землянка была пустая. Это была обыкновенная фронтная, наспех вырытая землянка, вероятно, двумя приятелями. Потолок лежал совсем низко, так что нельзя было распрямиться. Но было довольно сухо. Осторожно и бережно я положил девушку на пол, потом скинул фуфайку и подостлал под нее. Хотя девушка была маленькая и легкая, хотя я почти все время шел во весь рост, но усталость и напряжение последней недели взяли свое. Я, как пьяный, свалился и тут же почувствовал, что смертельно устал.

Несколько минут я лежал как мертвец, не имея сил ни подняться, ни о чем-либо думать. Потом страшным усилием воли я возвратил себя к действительности. Надо было идти, разыскивать наших. Девушка тихо стонала. Мысль о том, что с ней может что-нибудь случиться без меня, парализовала мое решение.

Стояла все та же сплошная темень, как-то уродливо просачивались к нам звуки боя. Глухо донеслось русское «ура» – значит, наши пошли в атаку. Нет, надо идти. Девушке нужна помощь. В то же время ужас охватывал меня при мысли, что она останется здесь одна.

Но я отодрал себя от этих мыслей и почти голый по пояс, в одной разорванной рубахе, пополз к выходу. Я умышленно не попрощался с ней, так как боялся поддаться слабодушию. За несколько часов она стала для меня невероятно дорогой, близкой. Но только я стал отворять дверцы, как раздался оглушительный треск, земля заходила подо мной. Глаза ослепило огнем, и меня швырнуло назад. Я потерял сознание. Я не знаю и сейчас точно, что тогда случилось. Но думаю, что немцы, смяв остатки нашего батальона и продолжая двигаться, для верности расчищали путь себе артиллерией. Вероятно, один из снарядов разорвался около землянки, и меня отбросило волной.

Когда я пришел в себя, первым делом пополз к девушке. Она не стонала. Мне до тошноты стало страшно: вдруг она умерла? Но она была жива и все еще без сознания. Я ошупал руку. Кровь больше не сочилась. Стало немного легче. Еще не понимая, что случилось, я добрался до дверцы и нажал на нее. Она не поддавалась. Я навалился изо всех сил, но тщетно – она будто вмерзла. Тогда я стал в нее бить ногами – бесполезно. Тут страшная догадка просверлила мой мозг: нас засыпало. Вероятно, где-то совсем рядом разорвался снаряд, захлестнуло дверцу и засыпало землей. Понемногу я стал понимать наше положение. Мы замурованы в могиле и рано ли, поздно ли задохнемся от недостатка воздуха. Землянка была вырыта в стенке окопа, и только маленькая дверца соединяла ее с внешним миром.

Но не умирать же этой нелепой смертью. Мой мозг стал лихорадочно работать, и я нашел выход. Хотя я не знал, как была толста дверца землянки и как толст пласт земли, заваливший ее, я решил прорубить в дверце дыру и прорыть нору наружу. Чтобы чувствовать себя свободней, сбросил сапоги и клочья рубахи и немедля приступил к делу. Но при первых же ударах кинжала убедился, что это бесполезная работа. Надо, по меньшей мере, рубить топором, чтобы реализовать мое бредовое решение. К тому же брало сомнение: а что если за дверцей набито несколько метров сплошной земли? Тогда бесполезны все усилия.

В то же время что-то внутреннее настойчиво обнадеживало иллюзиями и о тонкости дверцы, и о незначительности земляного слоя. А тут еще в углу раздался стон девушки. Она скрипела, как молоденькая березка в бурю. Потом мне почудился шепот. Я подполз к ней, нагнулся. Она бредила. Рот ее так и пылал жаром. Она звала какого-то Колю. Это больно ущипнуло меня за сердце, но только на мгновение. Потом какая-то мутная и теплая волна залила все внутри. Этот лепет раненой девушки смягчил мое отчаяние. Захотелось до боли, до слез, чтобы и мое имя слетало с чьих-нибудь губ. И все всплыло вдруг: и деревня, и синий платочек, и девичьи глаза, и все в этом роде. И безумная ненависть, иступленное бешенство овладело мною.

Клял ли я виновников этого кровавого ада, именуемого войной, – не помню. Наверно, да. Помню только, что болезненная слабость прошла, и я с остервенением принялся за работу. Сначала рубил и отковыривал дерево, где попало потом, ощупывая пальцами, стал вырезывать борозды. Мало-помалу мне удалось сосредоточиться на этом, казалось бы, безнадежном деле. С упорством маньяка я долбил и резал, долбил и резал, как крыса, въедался в дерево. Через некоторое время я мог нащупать небольшое углубление. Пот заливал глаза, ноги затекали, так как приходилось сидеть согнувшись, спина деревенела, руки немели. Не знаю, долго ли я так работал. Конечно, это был нечеловеческий труд. Руки были все изрезаны, искромсаны, ногти оборваны. Когда я отирал пот с лица, кровь с рук стекала в рот, меня тошнило. Мучительно хотелось пить. Внутри все жгло.

Ритм моей работы затихал, отчаяние снова брало меня. И вдруг кинжал ударился в песок. Дерево в одном месте проткнуто! Еще столько же усилий, и я прорублю наконец дыру, достаточную, чтобы пролезло мое тело. С новым ожесточением я начал рубить и кромсать дерево. Прошло, вероятно, много времени, когда я смог просунуть в дыру голову. Вдруг мне послышалось: «Воды, воды!» Это просила пить девушка. То, что она пришла в себя, меня бесконечно обрадовало. Но воды не было. Пока я был поглощен работой, я еще мог подавлять в себе жажду. Но теперь почувствовал, что и мне смертельно хочется пить.

Я добрался до нее. Видимо, она почувствовала мое присутствие и лихорадочно прошептала: «Я ничего не вижу. Я слепла». «Да нет же, нет, – стал я успокаивать ее, – здесь просто темно...» После этого она снова впала в бред, но даже и в бреду не переставала просить воды. Ее муки, ее жажда заглушили во мне мои собственные боли. Впрочем, нет, каждый слабый крик ее – «воды» – впивался в меня ножом. Эта кромешная ночь, эта глухая земляная дыра спаяли нас намертво. Ее муки, ее страдания стали моими муками, моими страданиями.

Жара и удушье стали невыносимыми. Голова пылала. Казалось, кто-то невидимый сдавливал ее железными ручищами. Вотвот лопнет. Это – следствие недостатка воздуха. Я снова принялся долбить дверцу. Но девушка не переставала просить пить. Внезапно у меня вспыхнула невероятно чудовищная мысль: взрезать руку и напоить ее кровью. Я не рассуждал тогда, принесет ли это пользу. Чем более я убеждал себя в нелепости этой затеи, отдающей дешевой романтикой, тем более хотелось ее сделать. И я сделал.

Снова приполз к ней, перевязал ремешком руку выше локтя, поднял над ее лицом, распорол ножом. Это был какой-то бред. Чтобы не зареветь от боли, я заткнул рот тряпкой. И все же, когда нож впился в руку, я закорчился от боли. Тем не менее я был рад: из руки полилось жидкое (не важно, что кровь). Но раз жидкое – можно пить. Когда кровь упала в ее рот, она стала причмокивать, как грудной ребенок. А потом начала плевать, ее стало тошнить. Я понял, что мое самозаклание было излишним. Кое-как удалось остановить кровь, перевязать руку. Убитый неудачей, обессиленный, я снова принялся за работу.

В конце концов мне удалось вырубить необходимую дыру. Я выбивался из последних сил. Повязка съехала, руки и тело были в крови. Казалось, я плавал в крови. Скорее инстинктивно, чем сознательно, я стал прорывать нору в земле. Да, инстинктивно, ибо мысль о необходимости продолжать работу уже перестала быть мыслью, а стала инстинктивным стимулом.

Дышать становилось трудно, воздух выходил. Это была какая-то зловонная парильня, будто тебя варят в котле. От захлебывающегося стона и бреда девушки можно было сойти с ума. Работа осложнялась еще и тем, что отрываемый песок приходилось выгребать в землянку, на что уходил двойной труд. Я знал, что останавливаться нельзя, потому что это означало бы смерть. Остановившись, я уже не смог бы начать снова. Ужас голодной и подземельной смерти перегнал всю энергию тела в руки, и, хотя они совершенно онемели, я рыл и рыл.

Вдруг я услышал пальбу над головой. Значит, близко поверхность! Действительно, в ту же секунду на мою голову рухнула подкопанная земля, и я, как мешок, вывалился из дыры. Потом, когда ко мне вернулась способность соображать, мне послышалось, что кто-то говорит. После мучительного напряжения мой слух уловил чужие слова, немецкие.

Итак, окоп был занят немцами. Это было ужасно! То, что минуту назад казалось спасением, было нашей смертью. Последние минуты, проведенные мною в землянке, помню совсем смутно. Это открытие убило меня, только вспыхнувшая надежда на спасение была выжжена безысходным трагизмом положения. Но хлынувший сверху воздух, влажный, полевой, немного освежил меня. Тем не менее у меня начались галлюцинации. Кошмар, которому я так долго сопротивлялся, наконец вошел в силу.

Я не помню, что было далее. Вероятно, проблески сознания все же появлялись. Я ощутил себя ползущим по земле с ножом в зубах. Левая рука вышла из повиновения и волоклась, как плеть. Пал дождь. Окоп пылал от вспышек пулеметов. Наши атаковали его. Со всех сторон неслось мощное «ура». Тогда мне стало понятно, почему в зубах у меня нож. Наверно, в один из моментов прояснения я решил вылезть из норы и броситься с ножом на немцев. По крайней мере, это была почетная смерть.

А теперь, теперь в голове установилась удивительная четкость мысли, и невероятная слабость, сонливая, без боли, разлилась по всему телу. Медленно, как щенок, я полз по брустверу окопа к ближнему пулемету. Должно быть, это была интересная картинка: с одной рукой, голый по пояс, полубезумный человек ползет на пулемет.

Я уже был метрах в десяти, уже различал лица пулеметчиков, как что-то тяжелое хлопнуло по голове. Я потерял сознание. А очнулся в госпитале.

## Молодой командир

Молодого студента назначили командиром роты разведчиков. Рота восприняла это назначение враждебно. Сибирякиохотники, недавние уголовники, опытные, выдавшие виды ребята и мужики, решили сразу же проучить желторотого мальчишку. А командир точно был молод: на верхней губе его только-только начинал пробиваться золотистый волос. Глаза совсем мальчишеские синие-синие, румянец во всю щеку, как у девушки.

Однажды заходит командир в землянку, слышит, смеются над ним. Хорошо же. Он вызывает самого, как ему казалось, зловредного, говорит:

– Пойдешь сейчас со мной в разведку». Пошли. Командир среди дня идет во весь рост. Пули сыплются. Дальше ползти невозможно, не то что идти. Солдату кажется – мальчишка с ума сошел. Умоляет переждать.

– Иди, – отвечает командир, – не то пристрелю на месте.

Так они перешли линию. Все разузнали, что надо. Пора было возвращаться домой. Но самолюбивый командир, обладавший незаурядной волей, решил навсегда покончить с насмешками над собой. Он решил уничтожить дзот. В темноте подкрались к выходу. Командир заколол часового. Без шума не обошлось. Выбежал немец, бросился на нашего солдата. Тому бы и смерть. Но выручил командир. Закидав гранатами дзот, они вернулись в роту.

Когда товарищи, рассчитывая услышать от солдата новые насмешки над мальчишкой-командиром, попросили рассказать его про разведку, солдат, ни слова не говоря, устало снял с головы шапку: голова его была седая.

С тех пор никто не смеялся над молодым командиром, а бойцы про себя называли его «синеглазым орлом».

## Из фронтовой жизни

### Рассказ земляка

В Архангельске из служащих (директоров, бухгалтеров, начальников лесопунктов и т. п.) сформировали минометную батарею. Несколько месяцев направляли то в Онегу, то в Архангельск. Оружия никакого нет. Наконец, привезли один или два миномета. Кажется, месяц учили наводке. А стрелять – боже упаси. Нельзя портить снаряды. Экономия строжайшая. Так батарею, не сделавшую ни одного выстрела, и повезли на Мурманское направление.

Результаты, как и следовало ожидать, оказались плачевными. Наступающий полк запросил огня – целый час пытались выстрелить, но так и не сумели. А затем – отбой: не надо, полк разбит. Потом привезли батарею на другой участок. Винтовок всего шестнадцать, не у каждого винтовка. Подвели к озеру и приказали: занимайте островок.

А островок в озере – самая настоящая мишень для самолетов. Заняли остров. Саша говорит командиру:

– Товарищ командир, неладно мы сюда зашли. Если налетят самолеты, от нас мокрого места не останется.

– Сам вижу, товарищ Абрамов, но – приказ.

Самолеты противника, к счастью, не налетели. Отвели.

Другой раз морской пехоте приказали наступать по замерзшему озеру. Почему бы не по берегу опушкой леса? От бушлатов зачернело все озеро – финны не стреляют. Потом, когда до передовой осталось метров двести, начали бить минометы – сразу отрезали моряков от своих. Потом снаряды все ближе, ближе. И началось такое крошево – из 800 человек только 10 и выбрались. Остальные – кто потонул, кто замерз.

И таких бестолковых приказаний было не одно. Самый последний дурак не стал бы наступать там, где наступали наши командиры.

После этого Саша стал каждый раз высказывать свои соображения командиру.

Как-то налетели финны на госпиталь – всех вырезали. Подняли батальон – пошли догонять. Командиры, в полушубках, брюхатые, обычно лежавшие в землянке, взмокли.

– Как, пареньки? Разопрели?

– Разве догонишь финнов?

Ходили-ходили, решили: взводу засесть в доме на лыжне и ждать. Вечером командир поставил охрану: два человека на чердаке у слуховых окон.

– Товарищ командир, – говорит Саша, – это надо подумать. Финны ночью дом подожгут – всех спялят. Надо охрану подальше выставлять.

Слава богу, – командир послушался, выставили охранение, да и финны не пришли.

Но не каждый командир терпит советы солдата. Один раз Сашу едва не расстреляли за советы.

В декабре 1942 года батарею отправили на Сталинградское направление. Три месяца ехали – приехали к шапочному разбору.

А первый раз выстрелили из миномета только на Донце. Тут и научились попадать в цель. Умный солдат на войне – нелегкое дело, нелегкая судьба.

1958

## Белая лошадь

### 1

– Холодно.

– Погоди, вот немец трахнет – тепло будет. Семен ничего не ответил, только клацнул зубами.

В утреннем мутном рассвете мне было видно его лицо... На него было жалко смотреть. Да я и сам замерз как собака.

Хуже всего – это лежать в секрете осенью, у речки, с которой тянет сыростью, под кустом. А надежд на то, что мы сразу же отогреемся, как только нас сменят, у нас никаких. Мы не решались разводиться костер даже днем, и все наши расчеты были связаны с тем, что днем проглянет солнце. Был сентябрь месяц, бабье лето, и днем, если солнце, мы согревались.

Мы, наше отделение студентов-филологов, охраняли минное поле – большой, покрытый сочной травой луг, примыкавший к речке.

Передовая была где-то впереди, за речкой, и оттуда естественно шли отступавшие – группами, одиночками, и наша задача была предупреждать своих.

А если кто-нибудь все же попадет на минное поле? Ночью, во время тумана? Что мы должны делать? Насчет этого никаких инструкций мы не получили. Предполагалось, видно, что наши бойцы не могут угодить на свои мины. А если все же угодят? Тут мы были беспомощны. У нас не было карты минного поля (опять секрет?), мы даже на свой пост у реки под кустом, под которым мы лежали сейчас с Рогинским, ходили берегом речки. Берег был глинистый, влажный, из грунта стекало. И мы к посту добирались всегда с мокрыми ногами, даже в сухую погоду. Днем было еще терпимо, а ночью, и особенно под утро, мы буквально околевали.

Одно пока утешало: никто не нарвался на нас. Мы были в стороне. И мне до сих пор непонятно, зачем оно вообще было сделано. Шоссейная дорога проходила сбоку, проселочная дорога через наш хутор шла с другой стороны – зачем идти пехоте или танкам на этот луг? Впрочем, в те первые месяцы войны многое казалось непонятным на фронте. Винтовок не было. Разве мы думали, что безоружные...

Мы жили на хуторе уже вторую неделю. Жили в сарае на сеновале, потому что единственный домик был сожжен еще до нашего прихода. Мы страшно мерзли, как я уже сказал, и питались главным образом огородишкой: картошкой, репой, морковкой.

Но со всем этим можно было еще мириться. Страшнее всего была неизвестность. Угнетала неизвестность.

Мы уже три дня не имели связи со своей ротой, оставшейся где-то за картофельником на опушке леса, и там уже третий день горела неубранная рожь. Где наши? Может быть, ушли? Может, отступили? И мы в окружении?

Кругом были пожары. Рвались снаряды, шел бой. И мы сидели у этого минного поля и ждали команды, когда нас снимут.

– По-моему, наше время на исходе, – заговорил опять Рогинский. – Ну-ка взгляни, сколько там накачало.

Рогинский просил, чтобы я взглянул на часы, которые у меня были на руке. В нашем отделении были одни-единственные часы на девять человек. (Это ведь теперь каждый школьник с часами, а тогда часы – роскошь.) Эти часы мы, в общем, реквизировали у их хозяина, Вовки, сына профессора, и все, кто отправлялся на пост (в наряд), брал их с собой.

Я уже давно, как только засветлело и стало видно циферблат, раза три, а то и больше взглядывал на часы. Нам еще оставалось не меньше получаса – мы стояли и ночью по четыре



часа. Но я сделал вид, что мне на время наплевать – я могу постоять еще и не столько. Рогинский, давно уже смирившийся с подчиненным положением, с тем, что я тут первый человек, а не он, протяжно вздохнул, а потом сказал:

– После войны я обязательно заведу себе валенки с теплыми пуховыми носками. И еще шубу. Я такую шубу видел один раз.

– Ничего себе – идеал, романтика... – я презрительно фыркнул. – Все мы герои до первого испытания.

## 2

История моих отношений с Рогинским. На кой черт я взял его? От меня зависело. Я мог не брать...

## 3

Заморозок. Луговина, как солью присыпана. Справа бабахало. Я начал вставать – кончилось наше время.

– Смотри, смотри! Что это? – шепотом воскликнул Рогинский.

Меня изумил этот восторженный шепот, так не вяжущийся с нынешним Рогинским, и я, кажется, сперва взглянул не туда, куда он указывал, а на Рогинского.

Он лежал, вытянув шею, и во все глаза, как на чудо, смотрел на луг. И там действительно было чудо: по лугу бежала белая лошадь! Не знаю, может, в том виновата внезапность ее появления, неожиданность, может быть, виновата война, которая сделала нас тупыми, а может быть, солнце виновато, которое вышло изза леса. Но мне показалось, что я еще ничего подобного не видал в своей жизни.

Лошадь бежала серединой луга – легкая, грациозная, грива и хвост распущены, тонкие ноги не хватают земли. Румяная заря. Я не успел подумать, откуда эта лошадь. С шоссе. Отбилась. А может быть, это местная, хозяйская. Как раздался оглушительный взрыв. Когда земля осела, мы увидели лошадь лежащей на лугу. Она била ногами. Грязная. Подкова сверкала. Потом лошадь поднялась на колени передних ног и жалобно заржала.

– Надо ей помочь, – сказал Рогинский и начал вставать.

– Идиот! Как ей поможешь! Может, к ней побежишь?

Я был в полном отчаянии. Я не знал, что делать. А между тем лошадь продолжала жалобно ржать, словно она призывала нас на помощь.

– Стреляй! – закричал от сарая помкомвзвода. У сарая, привлеченные взрывом, стояли все ребята нашего отделения. Помкомвзвода, как и другие, выбежал. Нервы не выдержали и у него.

Я щелкнул затвором. И вдруг Рогинский, этот жалкий ублюдок, вскочил на ноги и бросился на луг.

– Назад, назад! – закричал я. – Стой, убью. – И то же примерно закричали ребята от сарая. А Рогинский бежал по полю, прямо по минному полю, и башмаки бухали, как пушки.

Что я пережил, передумал за эти несколько секунд. Это невозможно передать словом. Об этом можно только догадываться. Я, конечно, ругал Рогинского самыми последними словами: идиот! Кретин безмозглый, психопат, интеллигент сопливый. Не выдержал.

Но я и восхищался им. Где-то в подсознании. Безусловно. Это ведь какую надо иметь отвагу, чтобы броситься на минное поле ради лошади на верную смерть. Если бы это был человек, я бы еще понимал...

Ребята смотрели, застыв у сарая, и я смотрел. А потом я побежал вслед за ним. Не от храбрости, нет. От дыбом поднявшейся во мне гордости, честолюбия. Я знал, что если я не

кинусь вслед за ним, я никогда не прощу этого себе. Никогда. Мне не жить с этим. Да и ребята мне не простят, если что-нибудь случится с Рогинским.

Судьба на этот раз сжалась над нами. Мы, наверно, не сделали и десяти-пятнадцати шагов по минному полю, как раздался страшный взрыв. Рогинский упал на землю, а я, бежавший сзади него, упал на него.

Подорвалась лошадь. Как я представляю теперь, лошадь сначала подорвалась на противопехотной мине, и ей перебило ногу, а затем, катаясь по лугу с перебитой ногой, она накатилась на противотанковую мину. Во всяком случае на лугу от нее осталась только одна белая нога с подковой – остальное все разнесло, и мы потом дня три, пока нас не выбили из хутора немцы, смотрели на эту белую ногу, как березовое полено, лежавшую за пять метров от взрыва на зеленом лугу.

Я не помню, как мы вышли с минного поля. Я помню только, что вдруг Рогинский, когда мы уже были на прибрежной кромке и к нам бежали, тяжело дыша, ребята, начал, как мне показалось, валиться набок.

– Что с тобой? – закричал я от испуга.

– Чего-то пятке неловко. Я, по-моему, опять сбил правую ногу. Ведь сколько раз говорил себе, что нельзя бегать.

И тогда я ударил Рогинского прямо по лицу. Кулаком. За все, за то, что он заставил меня столько пережить, за его идиотскую храбрость.

Он погиб через неделю. Но мне больше запомнилось, как он спасал белую лошадь. Эта белая лошадь, словно на крыльях плывущая по лугу, как самая ослепительная красота. И Рогинский, позабыв про все страхи и боли, бросился спасать красоту. Он не мог поступить иначе. Он мог погибнуть, но красота должна жить. Красоту он не мог оставить без защиты, ибо он был великий артист.

## Бревенчатые мавзолеи

Новгородчина. Восточная сторона... Сколько раз за эти дни проходил я через заброшенные, словно вымершие деревни, сколько видел пустых домов с давно остывшими печами! И кажется, уже начал привыкать и к запустению, и к задичанию, но эта деревня меня взволновала: на углах домов я увидел небольшие красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси.

От единственной старушонки, которая жила в этой деревне (на лето из города приехала), я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до которой, по словам старухи, было километра четыре, а на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра.

При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сем, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха.

Вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрешена чернильными тенями.

Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу.

Звезды стали еще ярче. И я смотрел-смотрел на их алмазное мерцание и вдруг вспомнил притчу из далекого детства – о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина – солдата. Бревенчатые мавзолеи... По всей России...

1978

## А война еще не кончилась

У Степанищевых опять крик-ор: пьяный Витька пристал к матери – выложь да подай три рубля на бутылку!

Наталья, с весны больная, прочно оседлавшая койку, отбиваясь от сына, в который раз твердит одно и то же:

– Да где я тебе три-то рубля возьму? Двадцать рублей пензия – ты мне еще должен приплачивать.

Но разве Витьку словом проймешь? И тогда от бессилия, от безнадежности она начинает плакать:

– Я не знаю, в кого ты только и уродился такой. Отец не пил, дедко не пил...

– В тебя! – выпаливает, зверея, Витька.

– В меня? Да я в жизни этой отравы в рот не брала.

– Ты блядовала!..

– Что ты, что ты, собака... Как у тебя и язык-то повернулся такое матери сказать. Когда мне блядовать-то было? Двадцати семи от мужика осталась, а вас у меня четверо, горох горохом...

– Вот в это самое время ты и блядовала. – И тут уж Витька пускает пьяную слезу. – Родной отец, понимаешь, за родину на фронте умирал, а ты в это время с Митькой-матаэфом...

У бедной Натальи нет слов, чтобы заткнуть бесстыжую глотку сына, и в ответ она только издает стон.

– Брось, брось комедь ломать. Сам видел. Раз с ребятами подрались из-за молока в телячьей шайке (вот как я в войну-то жил, с телятами из одной шайки питался!), побежал к тебе на другой конец коровника: мама, помоги. А как мама поможет, когда ее Митька-матаэф в траве валяет. Только ляжки белеют. Дак каково, думаешь, мне было? Семь лет от роду, а я все понимал... Все... И отец на фронте... А ты еще говоришь, почему пьяницей стал. Да ты скажи спасибо, что я убийцей не стал!

Наталья – ни звука. Даже стонать перестала.

– Ну что, захлебнулась? Нечего сказать?

– Рожа ты, рожа бессовестная... Да я ведь под Митьку-то ложилась, чтобы тебя, ирода, спасти.

Витька оглушительно хохочет на всю избу.

– Вот это да! Вот это высказалась! Мы, дурачье, до ее думали: на фронте нас отстаивали, отцы да братья. Враки! Под бугаем Митькой главное спасенье было...

– Ты войну-то запомнил, как у телячьей шайки от голода спасался да как на фронте мужики сражались. А про те сражения, которые в нужнике были, помнишь? Помнишь, как в нужнике кровь проливали?

– Ну, мамаша, даешь сегодня! В нужнике сраженья... В нужнике кровь проливали... Ха-ха-ха.

– Не скаль, не скаль зубищи-то. С голодухи-то, бывало, чего в себя не затолкаешь. И мох, и траву, и кашу сосновую. А как вытолкать? Утром-то встанешь – вся деревня стоном стонет, все нужники в крови. Вот мать-то у тебя и ложилась под Митьку, чтобы ты мог без крови да без крика на двор сходить.

– Интересно, интересно...

Наталья поднялась, села на койке, отыскала сухими, раскаленными глазами сына, паясничавшего возле стола.

– Да кабы я знала, что такие попреки от тебя услышу, да я бы лучше своими руками тебя тогда удушила.

– А ты что же думала – благодарить тебя за то, что ты под Митькой валялась?

– А вот и благодарить. Все деревне благодарить от века до века! И те, которые здесь живут, и те, которые по городам. Где жизнь-то в войну в деревне была? Возле коровьего вымени, возле молока. Вся мелюзга, весь люд к скотному двору жался – коровы-то не у многих-то были. А тут Митька с войны появился – всю жизнь в свой кулак зажал, над всеми коровами, над всеми скотными начальник. Матаэф. Вот твоя мать и прикрыла всех своим телом. Валяй, топчи, сволочь поганая, стерплю, зато мои ребята с голоду не подохнут, зато мои ребята на двор утром сходят, кровью в нужнике не изойдут.

Витька, по-прежнему ухмыляясь, хотел было что-то возразить, но тут Наталья с неожиданной резвостью вскочила с койки, схватила со стола пустую увесистую бутылку:

– Вон, вон из моего дома! Чтобы духом твоим здесь больше не пахло, чтобы ноги твоей никогда не было!

И под напором этой невиданной доселе материнской ярости Витька отступил – как пробка вылетел из избы.

А через час он возвратился, заметно посвежевший, приготовившийся к новой осаде матери, и Наталья при одном виде уверенно ввалившегося в избу сына сдалась – достала с высохшей груди последний, вчетверо сложенный трояк и бросила на пол.

*1978–1980*

## Потомок Джима

Жили-были в предвоенном Ленинграде художник Петр Петрович и его жена Елена Аркадьевна. И был у них Дар, черный красавец доберман-пинчер.

Хозяева души не чаяли в своем Даре. Умнейший, благороднейший пес! И в высшей степени услужливый.

Утром, бывало, Петр Петрович еще только протирает глаза, а он уж держит в зубах ночную туфлю. Потянулся Петр Петрович за папиросой – пожалуйста спички. Ну а ежели Петр Петрович за кисть возьмется – замер. Перестал дышать. Сплошная истома и блаженство. И Петр Петрович, не очень-то избалованный вниманием как художник, вздыхал: «Ах, если бы так понимали искусство те, кому это положено! На какие высоты мы бы поднялись!»

Отношение Дара к хозяйке укладывалось в одно слово – джентльменство. Джентльменство, какого ныне поискать и среди людей. Скажем, возвращаются они с покупками из магазина или с рынка. Позволить Елене Аркадьевне тащить сумку? Ни за что на свете! Легкую поклажу в зубы, а та, что потяжелше, – на спину. И вышагивает, вышагивает, к зависти и восторгу прохожих, слегка пружиня сухие, мускулистые ноги в коричневых чулочках, чуть-чуть грузноватый, закормленный и все-таки элегантный, подтянутый, с тонкой лоснящейся кожей с рыжими подпалами, как бы весь налитый жаром изнутри.

Совсем других правил придерживался Дар в отношении друзей и знакомых дома. Такт, корректность – это всенепременно, но в то же время никакого амикошонства, никаких нежностей, до которых особенно охочи восторженные дамочки.

Квартира Петра Петровича и Елены Аркадьевны была открыта с утра до ночи, к ним перли все кому не лень – благо всегда можно задарма поесть и выпить. Дару это не нравилось. Но что поделаешь с его чересчур хлебосольными хозяевами, да к тому же еще слегка бравирующими своей богемностью?

Зато когда хозяев дома не было, Дар не церемонился. Впустить в квартиру пустит, а обратно хода нет. Сиди! До тех пор сиди, пока не вернется один из хозяев. Ну а ежели гость попадался строптивый, своевольный, тогда Дар ложился поперек дверей и издавал такой утробный звук, от которого гость моментально трезвел.

Одним гостям Дар позволял все – малым детям. Дети могли вытворять с ним все, что угодно: гладить, хлопать, даже садиться верхом. Правда, самому Дару это не доставляло большого удовольствия, но он терпел. Терпел, сцепив зубы, потому что бездетные хозяева были без ума от детей. А потом и то надо было принять во внимание: разве сам-то он не был маленьким?

Была у Дара и еще одна слабость – он был сладкоежка, и именно из-за избыточного веса его, умнейшего и благороднейшего пса, не допустили к участию в собачьей выставке.

В то лето, с которого начинается наш рассказ, Дару исполнилось десять лет, и по этому случаю Петр Петрович и Елена Аркадьевна решили закатить пир.

Праздничный обед с шампанским, с обильным набором всевозможных пирожных и тортов, любимого кушанья новорожденного, назначили на воскресенье, на то роковое воскресенье, когда в советский дом вломилась война. И надо ли говорить, что обед не состоялся?

Петра Петровича как белобилетника на фронт не взяли, но мог ли он в такое время сидеть дома?

Петр Петрович напросился на оборонные работы, а вместе с ним отправился и Дар: никакими уговорами, никакими строгостями не могли удержать его.

Дар не рыл с утра до ночи раскаленный песок лопатой, не долбил ломом заклею, ставшую каменной в то жаркое лето глину, не надрывался над стопудовой тачкой, но он тоже строил оборону. Ибо одно его присутствие тут, вблизи от ревущего огня и железа, один его

домашний, всегда такой франтоватый, неунывающий вид снимал с людей усталость, наполнял их бодростью и верой.

А Петр Петрович, слабенький, вечно зябнувший Петр Петрович... Что бы он делал без своего верного друга?

Спать приходилось под открытым небом, прямо на земле, а потом и вообще пошли холодные ночи – замерзай, шелкай зубами до самого утра. А когда рядом с тобой Дар – привались к его горячему мягкому боку и лежи, как на печи.

Осенью в осажденном городе начался голод. Петру Петровичу и Елене Аркадьевне пришлось туго вдвойне: на Дара карточку не давали.

Друзья в один голос твердили: надо прощаться с Даром. Это безумие – держать собаку в такое время. Но Петр Петрович и слышать не хотел. Предать друга в беде, да как после этого жить?

Раз в сумерках Петр Петрович прохаживался с Даром возле своего дома. Был уже снег, припекал мороз. Петра Петровича била дрожь, хоть он намотал на себя уйму всякой одежды. Он попытался перейти на тротуар, но начавшие пухнуть ноги чугуном врастали в землю.

Уже когда они подходили к парадным воротам дома, на них напали двое мужчин. Вернее, напали на пса, потому что сам-то Петр Петрович их не интересовал. Они только ткнули его рукой, и он упал, а на Дара пытались накинуть сетку.

Дар в один миг раскидал доходяг, и, если бы Петр Петрович не успел подать команду, бог знает чем бы все кончилось.

После этого случая Петр Петрович уже не решался выводить пса из дома, да ему и самому не под силу стали прогулки: он слег.

В середине декабря Петра Петровича удалось устроить в госпиталь. Дар, доселе покорно следовавший законам вынужденного затворничества, тут вышел из повиновения. Он проводил своего хозяина до госпиталя и затем, несмотря на лютую стужу (а ведь у него была очень короткая шерсть), долго сидел у занесенного снегом крыльца и безутешно, как это умеют только собаки, плакал.

С этого дня Елена Аркадьевна целыми днями пропадала на толкучке. Картины видных мастеров, отечественных и зарубежных, золотые кольца, браслеты, редкие книги – все меняла на хлеб, на землястый блокадный хлеб с множеством примесей, на дуранду, на жмыхи – только бы спасти своего Петю.

Однажды ей крупно повезло: она сумела на одну бесценную вещицу выменять кусочек мяса, да не какой-то там костлявой и жилистой старучины, а свежей благоухающей печени.

Сразу воспрянувшая духом, Елена Аркадьевна сварила печень в кастрюльке и тем же часом отправилась в госпиталь.

– Петюля, Петюленька! Что я тебе сегодня принесла-то.

Она вынула из сумки сверток, развернула и застонала: перепутала... Вместо кастрюльки с печенью завернула такую же на вид кастрюльку с кипятком, которым грелась перед тем, как выйти на улицу.

Она не помнила, как бежала назад мертвыми, безлюдными улицами и переулками, барахталась в снежных сугробах, не помнила, как поднималась к себе на второй этаж, открывала дверь. Все мысли, все ее помутневшее от ужаса сознание были сосредоточены на маленькой, продымленной кастрюльке, забытой на чугунной «буржуйке». И на Даре, на голодном Даре, по ее вине оставшемся одни на один с одуряюще вкусно пахнущим мясом.

Дар не прикоснулся к кастрюльке, даже крышку не сбил с нее. Но что стоило ему это? На полу была лужа слюны.

Кусочек печени не поднял Петра Петровича на ноги. Наоборот, после этого он, казалось, еще быстрее покатился навстречу бедне.

Доктор, дальний знакомый, сам страшнейший дистрофик, в тот раз, провожая Елену Аркадьевну, сказал:

– Выход у вас один, голубушка. И вы знаете какой.

– Пожертвовать Даром? Нет, нет, я лучше сама умру.

– Ах, Елена Аркадьевна, Елена Аркадьевна! Чем может помочь ваша смерть Петру Петровичу?

– Но Петя, когда узнает, проклянет меня.

– Ну, смотрите, смотрите. Недельку еще, надеюсь, протянет, а дальше... – И доктор покорно и обреченно развел руками.

К этому времени Дар сильно отощал и высох, но благодаря жировым излишкам, из-за которых он когда-то не вышел в призеры, он все еще походил на собаку. И конечно, как умел, исполнял свои обязанности. Всякий раз, когда хозяйка, возвращаясь с толкучки, начинала скрежетать железным ключом в промерзших дверях, он вылезал из своей конуры, оборудованной под столом, и встречал Елену Аркадьевну стоя, в духе прежнего, раз навсегда усвоенного джентльменства.

В дни же прихода хозяйки из госпиталя его от волнения охватывала дрожь, и, уткнувшись мордой в заиндевелую полу шубы, он жадно втягивал в себя ее запахи в надежде уловить среди них единственный и неповторимый запах хозяина.

Сегодня Дар не вылез из конуры.

– Дар, Дар... Но я же ничего не сказала... У меня и в мыслях ничего такого не было...

Дар не подавал никаких признаков жизни. В промерзлое, мохнатое от инея окно кухни, похожей на каменный склеп, скуп сочился неживой свет кончающегося декабрьского дня.

«Может, он заболел?» – подумала Елена Аркадьевна.

Она наклонилась к конуре, протянула к отверстию руку, и тут пес заурчал, щелкнул зубами.

Елена Аркадьевна была потрясена – никогда в жизни Дар не позволял себе ничего подобного. Не раздеваясь, она села на кровать и заплакала.

– Дар, Дар, я этого не заслужила. Ну чем, чем я виновата, что кругом война, смерть, что Петр Петрович умирает? Я не хочу, видит бог, не хочу твоей смерти. Но что мне делать? Как спасти Петра Петровича?

То ли на пса, как всегда, магически подействовало имя хозяина, произнесенное Еленой Аркадьевной, то ли он сжалился над ней, слабой, беспомощной женщиной, но он вылез из своей берлоги и тихо и виновато лизнул ей руку.

Елена Аркадьевна хотела приласкать, обнять добермана (сколько раз за эти страшные дни, что она жила одна, без мужа, она черпала силы в разговоре с ним!), но, встретившись взглядом с его темными, исстрадавшимися, всепонимающими глазами, она еще пуще прежнего разрыдалась.

– Дар, Дар... Я ничего, ничего не сказала ему... – Она имела в виду дворника, который снова сегодня, который уже раз за эту неделю, предлагал ей свои палаческие услуги.

Впоследствии, тысячу раз возвращаясь в мыслях к тому, что произошло в этот вечер, она больше всего казнила себя за то, что забыла закрыть за собой на крюк двери. Ибо постучись к ней дворник, разве она открыла бы ему?

Дворник вошел в ту минуту, когда она разговаривала с Даром.

– Пришел, Елена Аркадьевна... Пора кончать с этим делом.

– Нет, нет... Не сегодня...

– Да чего тянуть-то? Неужели вам пес дороже мужа?

– Завтра, завтра... В другой раз...

– Да до другого-то раза я сам не доживу...



Гремя огромными, словно из железа выкованными ботами, дворник подошел к Дару, накинул ему на шею веревку. И Дар, Дар, который никогда за свои десять с половиной лет жизни не терпел ни малейшего насилия, тут не оказал ни малейшего сопротивления.

Петр Петрович был спасен.

О Даре он не спросил Елену Аркадьевну ни разу, да и вообще разговаривали они теперь только в самых необходимых случаях.

аз, вскоре после снятия блокады, они вышли на улицу подышать свежим воздухом, а вернее, погреться, потому что был дивный, солнечный день. И вот не успели они перейти улицу, как на глаза им попался белый пудель. Первая собака, которую они увидели за эти два года в городе.

Пуделя на поводке вел старик интеллигентного вида, и оба они – и белый пудель, чистенький, расчесанный, с нарядной попонкой, и прямой, молодцеватый старик, тщательно, до блеска выбритый, в черных, туго обтягивающих красивые руки кожаных перчатках, – оба они походили на каких-то сказочных существ, пришедших в этот все еще нежилой город не то из довоенного времени, не то с другой планеты.

Ни единого слова не было сказано между Еленой Аркадьевной и Петром Петровичем, но с этого дня Елена Аркадьевна слегла и через полгода умерла.

Петр Петрович пережил жену на три года. В годовщину смерти ее он возложил на ее могилу скромное, но с редким вкусом им самим обработанное гранитное надгробие, а рядом с могилой жены поставил гранитную стелу, на которой высек такие слова:

**В память незабвенного друга добермана-пинчера Дара, защитника и мученика блокадного Ленинграда**

В последние два года Петр Петрович почти не выходил из своей квартиры и все рисовал и рисовал своего Дара...

Эту печальную, но и возвышающую дух историю рассказала мне одна старая приятельница Петра Петровича и Елены Аркадьевны. Она же указала мне и кладбище, на котором похоронены Петр Петрович и Елена Аркадьевна.

Увы, кладбища этого давно нет. На месте его стоят новые жилые дома.

1983

## ПОВЕСТИ

### Разговор с самим собой *Незавершенная повесть*

#### 1

Александр Дмитриевич любил собрания своего пишущего цеха. И любил не потому, что ждал от них каких-либо откровений для себя. Давно всем известно: «надо создавать положительного героя», «надо идти в гущу жизни», «надо...» – десятки одних и тех же «надо», как четки, из года в год перебирают литературные «веды».

Ему нравилось в собраниях, если так можно выразиться, их бытовая атмосфера: встречи с товарищами, которых не видишь иногда целыми месяцами, возможность поговорить с деловыми людьми из издательств и журналов и, наконец, просто треп, обыкновенный человеческий треп.

И вот когда объявили перерыв, Александр Дмитриевич в числе первых поспешил на выход. Именно там, за пределами зала, в маленьких уютных гостиных и коридорах, на лестничных площадках и в буфете, начиналась наиболее оживленная часть собрания.

– Александр! Сойманов!

Александр Дмитриевич оглянулся на голос. Какой-то розовощекий толстяк призывно махал рукой от боковой двери. Фу ты черт, да ведь это Басюта! Александр Дмитриевич, беспрепятственно расталкивая людей, ринулся навстречу фронтовому товарищу. Они обнялись, вышли в боковой коридор.

– Ну вот и аз многогрешный сподобился увидеть великого Александра, – изрек Басюта.

Шутка шуткой, но была в ней и своя правда. Что ни говори, а из всех работников армейской газеты только он один, Александр Дмитриевич, выбился в писатели, а кому не известно, что каждый газетчик и журналист мечтает стать писателем! Сам Басюта ишачил в Сибири, в областной газете, и далеко не на первых ролях. А ведь было время, когда он ходил под началом этого толстяка.

– А ты, я вижу, тоже зря время не терял, – пошутил Александр Дмитриевич. – Поработал над материальной базой.

Басюта расхохотался, похлопал себя по животу.

– Есть, есть кое-какие социалистические накопления. Черта лысого теперь застанет меня врасплох война. Никакого фактора неожиданности.

Они прошли через пустой зал на шумную лестничную площадку, спустились в буфет.

– Ну, рассказывай, – сказал Басюта, как только они уселись за столик. – Где кто? Кого видишь из наших кошкеедов?

Кошкеедами называли себя сотрудники армейской газеты. Во время блокады они действительно охотились за одичавшими кошками, и по этому поводу был сочинен даже специальный марш, который так и назывался: марш кошкеедов.

– Да, – живо перебил себя Басюта, – знаешь, кого я встретил, едучи сюда? Риточку Скнарину.

– Да ну?

На Риточку Скнарина, машинистку редакции, заглядывались все сотрудники. Девочка фартовая, аппетитная. Идет, дробит своими копытами – белые фетровые ботинки на высоком

каблуке – как коза. Но, как говорится, близок локоть, да не укусишь. Риточка находилась под особым покровительством заместителя начальника политотдела.

Басюта рассказал, как они встретились с Риточкой в поезде, в вагоне-ресторане.

– Ну и как она? – Для наглядности Александр Дмитриевич сопроводил вопрос движением руки.

– В этом самом смысле? Нет, батенька, поищи другие слова.

Мы теперь в замминистрах ходим.

– Ритка Скнарина замминистра?

– Да нет. Замминистра-то ее муж, а она хоть шеей его вертит, но тоже должность немалая.

– Вот как. А как же Каблуков? – спросил Александр Дмитриевич. Кто-то, помнится, ему рассказывал, что вскоре после войны Риточку Скнарину встретил в Москве вместе с Каблуковым и что Каблуков (тот самый замначальника политотдела, который опекал ее во время войны) хлопчет насчет официального оформления их отношений.

– Каблуков, Каблуков... – проворчал Басюта. – Вчерашний день. Что ей делать с этим старым тюфяком? Живет где-нибудь под Москвой, выращивает клубничку да вспоминает свои золотые денечки. Да, да, не смейся. Ведь для таких, как Каблуков, война была самое распрямленное время. А Ритка же, ты знаешь, – огонь. Между прочим, – Басюта навалился грудью на столик, хитровато подмигнул своим хохлацким глазом, – тебе привет. Напрасно, говорит, забывает старых друзей. Соображаешь?

Кровь отхлынула от лица Александра Дмитриевича. А почему бы ему и в самом деле не прокатиться до Москвы? Может он позволить себе такую роскошь? Всю войну он добивался этой смазливенькой шлюшки с пистолетиком на боку. Посмотрим, что запоет госпожа замминистерша.

На стол подали закуску, маленький графинчик коньяку.

Первую рюмку, разумеется, выпили за встречу. Не виделись без мала одиннадцать лет, с той самой поры, когда 6 июля 1946 года разъехались по домам из Берлина.

– Ну так валяй о наших кошкочках, – напомнил Басюта.

Александр Дмитриевич без особого энтузиазма – он все думал о Риточке Скнариной – начал перечислять то, что ему известно: редактор газеты на пенсии; его заместитель – честнейший еврей с глазами великомученика – погорел в космополитическую кампанию; писатель (была такая штатная единица в армейской газете) спился – сам помнишь, еще в войну технический спирт глотал; Сотиков зав. фронтовым отделом, где-то, говорят, на целине... Кто еще? Анохин...

– Да, – нахмурился Басюта. – Я сегодня заскочил в редакцию – меня как обухом по голове.

– Понимаешь – военная редакция и вдруг без Анохина?

– А что с Анохиным? На пенсию отправили?

Басюта откинулся назад, какими-то новыми незнакомыми глазами посмотрел на него.

– Как? Да разве ты не знаешь? Ну, батенька, в одном городе живешь... Полный расчет взял Анохин. Трамваем – вдребезги.

Александр Дмитриевич медленно разжал пальцы, сжимавшие тоненькую ножку рюмки.

– Когда это было?

Он ждал и боялся ответа Басюты.

– Кажется, в сентябре прошлого года. То ли трамвай наскочил на него, то ли он на трамвай. Никто толком не знает.

Нет, он знает. Да, да. Именно в сентябре звонил ему Анохин домой. Никогда до этого не звонил, да и вообще друзья они были такие – за все послевоенное время раза три встречались друг с другом и то на ходу, случайно. А тут вдруг звонок, да как раз в середине дня, в самое рабочее время. С работой у Александра Дмитриевича не клеилось. Он нервничал. Какого дьявола ему надо?

– Беда у меня, товарищ Сойманов. Не знаю, как и сказать.

– Да говори толком. Что ты там еще крутишь.

Наконец удалось выдавить из Анохина: Ленька в изнасиловании замешан.

Ленька? В изнасиловании? Леньку, сына Анохина, Александр Дмитриевич буквально вырвал из зубов смерти. Зимой 1942 года, приехав в Ленинград с фронта по делам, он зашел вечером к Анохиным и увидел страшную, но для тех блокадных дней довольно обычную картину: в нетопленной комнате лежит на железной койке мертвая мать; а рядом с ней, обмотанный всевозможным тряпьем, еще живой ребенок. Александр Дмитриевич взял ребенка на руки, расстегнул свою шинель и так, прижимая его к своему телу, отогревая своим дыханием, целую ночь бродил по мертвому ледяному городу и только под утро разыскал детский дом. И вот это-то самый заморыш, которого спасал он, спасали люди, сейчас насилует людей. Нет, он и пальцем не пошевелит. Судить, судить скота. По всем строгостям. Он так и выпалил Анохину. На том конце мягко легла на крючок трубка. Это он помнит. А дальше что? Может быть, именно в тот самый день и произошло это с Анохиным?

Александр Дмитриевич поднял голову и посмотрел по сторонам. Перерыв, должно быть, кончился. Над разгромленными столами трудились официантки. У противоположной стены, за двумя сдвинутыми столами, сидели бородатые юнцы и шумно распределяли места в поэзии:

– Твардовский – устарел!

– Прокофьев... – оратору изменило мужество.

– Старик! Жми на всю железку! Верю в тебя.

– Слушай, – сказал Басюта, – я все сегодня вспоминал...

А как звали Анохина?

А верно, как? Александр Дмитриевич не мог припомнить.

– Да, – насутился Басюта. – Сколько с человеком соли съели, а стали вспоминать – и имени не знаем.

В полном молчании докурив папиросу, он предложил подняться наверх. Раз уж его вынесло на большую волну, надо подзарядиться.

Александр Дмитриевич, как деревянный, поднялся вслед за ним.

## 2

Если бы Александру Дмитриевичу предложили написать отчет о сегодняшней дискуссии, то он, вероятно, с поразительной точностью смог бы воспроизвести все детали. И то, как заметно осиротел президиум – обычная утечка после доклада. И какие внушительные потери за время перерыва понес зал, и как один за другим сменялись ораторы на трибуне. Он улавливал реплики в зале. Например, по поводу одного товарища, важно между кресел прошествовавшего по длинному проходу, застланному красным ковром, кто-то сказал: «Ну, понес свою монументальную пустоту на трибуну». И даже сам он был способен к шутке. Когда ему из рядов передали записку: «Саша. Сижу на мели. Выручи пятириком», – он спокойно вложил в записку пятерку и написал: «Придерживайся фарватера – тогда не сядешь на мель».

Словом, глаз и ухо Александра Дмитриевича с какой-то профессиональной обостренностью фиксировали все то, что происходило в зале. И в то же время из головы у него не выходил Анохин. А что с Ленькой? Вылез он из этой каши? А были у Анохина друзья? Что, если он, Александр Дмитриевич, был для него самым близким человеком, и он, как утопающий, протягивал к нему руки в тот день?

«Чушь, чушь, – обрывал он себя. – При чем тут ты? А если бы тебя не было дома? Ведь могло же так случиться, что в то самое время, когда звонил тебе Анохин, тебя не было дома?»

С трибуны, как перископ, выставив отсвечивающие очки, громыхал курчавый оратор:

– Положительный герой... В нем, как в фокусе, сконцентрированы ум и воля его поколения... Его деяния – это лицо эпохи.

– Речист, – сказал на ухо Басюта.

А Александр Дмитриевич подумал: «А какие деяния у Анохина? Кто Анохин? Да, вот такого, живого... Куда бы ты зачислил его, приятель?» И ему вспомнился декабрь 1941 года, его приход в редакцию армейской газеты.

### 3

– Так, так, на историческом учились. Это хорошо. Газетчик должен быть грамотным. А как с ногами? Газетчика ноги кормят. Топанье, топанье и еще раз топанье.

Александр Дмитриевич слушал редактора, отвечал на его вопросы и с любопытством нового человека присматривался к редакции, к ее сотрудникам. Когда нынешним утром в политотделе армии ему предложили работать в газете, он решил, что ему страшно повезло. Живое интересное дело, умные образованные люди, относительная безопасность (все-таки не на передовой) – чего же еще желать?

Но сейчас он видел – рановато обрадовался.

В редакции было холодно и мрачно, как в ленинградской блокадной квартире. Сотрудники, человек пять – бледные, изможденные доходяги – жались к чугунной времянке, в которой никак не разгорались сырые дрова. Сам редактор сидел в шинели с поднятым воротником, в перчатках и то и дело притоптывал ногами. Александра Дмитриевича тоже била дрожь. Из батальона выздоравливающих его выписали в старой солдатской шинелишке, без теплого.

– Так, так, – подытожил редактор. – Значит, с газетой близко сталкиваться не приходилось, и понятия о газете чисто читательские?

– Да, пожалуй.

– Тогда вот что. Начнем с самого простого – с информации. – Редактор повел глазами, кого-то поискал. – А где у нас Анохин?

Анохина в помещении не было. За ним побежали в типографию. И через каких-нибудь две-три минуты – типография была рядом – явился Анохин – маленький запыхавшийся человек.

К редакторскому столу он подошел почти военным шагом.

– Товарищ батальонный комиссар, по вашему приказанию...

– Ладно, ладно, – прервал его кисло редактор. – Как там в типографии? Егоров не поднялся?

– Нет.

– Второй наборщик пухнет с голоду, – пояснил редактор. – Знакомьтесь. Это наш новый сотрудник Сойманов. А это инструктор информации Анохин, наш, так сказать, король фронтового репортажа.

На шутку начальника Анохин улыбнулся – стальная полоска зубов блеснула из-за сухих толстых губ, густо осыпанных веснушками.

– Вот что, Анохин, – сказал редактор.

Улыбку, как рукой, сняло с лица Анохина. Он вытянулся. Серые глаза навывкате в длинных белых ресницах отвердели.

Анохин с дисциплинированностью старого служаки ждал, что скажет начальство.

– Вот что, Анохин, – сказал редактор, – надо товарища Сойманова приобщить к газетному делу.

– Можно, – сказал Анохин.

– Тогда так. Шагайте в батальон Горюнова. Там у него сержант Петруничев с несколькими бойцами зацепился за бугор. Хорошо бы к нему пробраться.

– Слушаюсь, – сказал Анохин.

Тут он немного «распустился», переступил с ноги на ногу. Сапоги у него были старые, кирзовые, стоптанные наружу, солдатские с треугольными заплатами брюки на коленях висели мешками, а длинная, не по росту гимнастерка, как юбка, торчала из-под ватника. В общем, при всей своей дисциплинированности Анохин был страшно нескладен и больше походил на какогонибудь бойца при кухне, чем на сотрудника армейской газеты.

Прежде чем отправиться на передовую, они зашли в столовую, на вещевой склад, затем заглянули в землянку Анохина, вырытую недалеко от редакции, на окраине вдребезги разбитого поселка.

Александр Дмитриевич думал хоть немного отогреться на дороге. Но черта с два! В землянке было холодно, сыро. Зато в ней, как говорится, не было недостатка в наглядной агитации. Со всех стен на него смотрели блокадные плакаты, призывающие к мужеству.

Анохин, как бы утешая его, сказал:

– Ничего, жить можно. Я-то, правда, больше в редакции сплю. Но ежели натопить – тепло.

Александр Дмитриевич надел на себя теплое белье, ватник, которые ему выдали на складе.

Анохин, уже готовый к выходу, подждал его.

– Двинулись, товарищ Сойманов? – и вдруг озабоченно спросил: – А где же у вас противогаз?

– Противогаз? Наверно, в редакции оставил.

– Придется вернуться, – сказал Анохин.

– Ерунда, – отмахнулся Александр Дмитриевич. По правде сказать, он был даже рад, что оставил эту проклятую сумку. Кому не надоела она за войну?

Но Анохин возразил:

– Нельзя, товарищ Сойманов. Насчет ношения противогаса есть специальный приказ. – Он назвал номер приказа. – И ежели мы, политработники, будем нарушать приказ, то какой же пример бойцам покажем?

#### 4

Дорога на передовую... Самая унылая дорога на свете. И, быть может, самая короткая из твоих дорог. Вот бредешь ты по рытвинам, по ухабам, воюешь с непослушными, отяжелевшими ногами – и они понимают, куда идут, а панихида тебе уже обеспечена заживо. Вот она – воет снарядом над головой, минным свистом и визгом сверлит в ушах. И где, когда, на каком метре оборвется твоя жизнь?

Скулит, хватая за рваный подол шинели поземка, наезжают машины и повозки, и оттуда с передовой и туда на передовую, с ранеными, со снарядами, оледенелые сапоги жалуются дороге на свое житье. А Анохин все прет и прет. Прет без усталости, без передышки, как ишак. И весь, как ишак, обвешан сумками: сумка с противогазом, сумка со свежими газетами, сумка командирская, из грубой кирзы, тоже набитая до отказа.

Нет, Александр Дмитриевич не новичок на войне. Пороха понюхал – с июля месяца, считай, с самого начала войны в народном ополчении. Был на фронте, был на курсах младших политруков, был в госпитале, в батальоне выздоравливающих и всяких, всяких людей навиделся за эти пять месяцев. Но с таким вот двуязычным и сознательным трудягой его судьба, пожалуй, свела впервые.

Когда возле свежей воронки, вырытой снарядом у самой дороги, им попала разбитая повозка (попадались они и раньше – и повозки, и машины), Анохин остановился, обратил его внимание на винтовку, валявшуюся возле колеса. Затем поднял ее, проверил затвор – работает – и покачал головой.

– Вот до чего дошло, товарищ Сойманов. Оружие боевое бросаем. Забыли, как летом нас с этими винтовками прижимало.

Да, Анохин был прав. Уж кто-кто, а он-то, Александр Дмитриевич, запомнил те денечки. Под Кингисеппом, когда их студенческая рота первый раз вступила в бой с немцами, он лежал под пулеметным огнем с одной бутылкой горючей смеси в руке и ждал, ждал, когда убьют товарища, чтобы взять его винтовку. Товарища, с которым он четыре года спал в общежитии койка к койке, тумбочка к тумбочке.

Но что сделал затем Анохин? Анохин деловито закинул винтовку за плечо и понес на передовую.

Впрочем, когда они вступили в узкую лощину с чахлыми кустиками ивняка по краям, Александр Дмитриевич и сам взвалил на себя винтовку (он подобрал ее возле убитого бойца). Но взвалил, конечно, отнюдь не из соображений хозяйственной озабоченности. Кругом все гремит, грохочет, пули свистят над головой, а у тебя всего-навсего игрушечный пистолет. Ну как тут не ухватиться за винтовку!

Зимы в лощине нет. Зима не успевает засыпать лощину снегом. Валяются убитые, раненые.

– Долиной смерти идем, – пояснил Анохин. – Но главные бои там, – он указал на опушку леса на горизонте. – За противотанковый ров. А это подход – и он, гад, день и ночь лупит. Много тут народушку полегло.

Из-за поворота показались раненые. Трое. Бредут след в след. Первый в валенках, и, несмотря на грохот кругом, было слышно, как под ногами его чавкает черное крошево.

– Ну как, товарищи, – спросил бодрым голосом Анохин, – всыпали немцу?

– Ему всыплешь. Он, сволочь, во рву окопался, а ты на брюхе к нему по голому болоту: каждая кочка срыта...

Анохин достал из сумки газету.

– Вот, товарищи, наша боевая армейская. Свежая.

– Эх, – вздохнул раненый в валенках. – Бумажка-то свежая, да что в нее завернуть? – И он с намеком посмотрел на Александра Дмитриевича.

Александр Дмитриевич вынул изо рта окурок. Это было последнее, что осталось у него от двух заверток, отсыпанных ему бойцами заградотряда.

– Да, – сказал мрачно второй раненый. – Думал, хоть на передовой накурюсь досыта да нажрюсь. Хрена с два! По сухарю мерзлому в зубы воткнули – штурмуй немца.

– Ты из какой части? – вдруг строгом, не своим голосом спросил Анохин. – Откуда у тебя эти разговорчики?

– Да я что, товарищ командир... Я ведь это к примеру...

– Ладно, иди, – сказал Анохин. – Да когда до госпиталя доберешься, почитай нашу армейскую. Там все объяснено насчет положения.

А когда раненые остались позади, Анохин, все еще хмурясь, сказал:

– Политико-воспитательная работа у Андропова хромает. Надо будет подсказать.

Кустики – все-таки защита – кончились. На мгновение Александр Дмитриевич увидел черную, распаханную войной равнину, белое пятно зимнего леса, опаленного красными вспышками. Разорвавшаяся вблизи мина засыпала его землей. Пригибаясь, тяжело дыша, он нырнул вслед за Анохиным в траншею.

Рядом с этой траншеей была еще траншея, потом траншеи соединились вместе, потом распались на бесконечное множество разных ходов сообщений. Но Анохин шел уверенно. Он тут был свой человек. И среди бойцов и командиров, которые попадались им навстречу, у него оказалось немало знакомых.

– А, товарищ младший политрук, опять к нам со своим бумажным войском!

– А центральных газеток нету?

– А правда это, нет, говорят, зоосад бомбой накрыло и все звери разбежались? Льва на Невском видели?

– А как насчет хлебной прибавки в городе? Всё сто двадцать пять?

В узком проходе, у землянки, где раненым оказывали первую помощь, они натолкнулись на фотографа армейской газеты – худющего небритого еврея в очках.

Фотографу не удавалось сделать нужный снимок. Он хотел, чтобы раненые улыбались, а те не улыбались.

– Товарищ Кац, да что вы ерундой занимаетесь! – сердито кричала ему маленькая санитарка.

– Надо, надо, Марусенька. Понимаете – надо.

– Да как же им улыбаться!

– Ну, это же очень просто. – И далее Кац показал, как надо улыбаться. Он медленно приподнял свою вздрагивающую голову и разлепил посинелые губы. Получился жуткий оскал живого мертвеца.

– Ну, это уже черт знает что, – сказал Александр Дмитриевич, когда они отошли от землянки. – Вы хоть бы ему сказали.

– Нет, товарищ Сойманов, – убежденно возразил Анохин, – правильно делает Кац. Нельзя давать пищу врагу.

– Да при чем тут враг?

– А как же. Гитлер да Геббельс колченогий и так на весь мир кричат: вот, мол, Ленинград при последнем издыхании. А мы, выходит, сами материалчик им в лапы. Нельзя.

Спорить с Анохиным было бесполезно. Анохин все соизмерял самыми высокими категориями.

Горюнова, командира батальона, они нашли на КП. И тут Александр Дмитриевич первый раз увидел, как руководят боем. Раньше он был убежден: война это сплошная неразбериха, сплошной хаос, которым невозможно управлять. А все эти умные писания насчет мудрых военачальников создаются потом, задним числом, когда отгремят пушки. По крайней мере, за все то время, что он был в народном ополчении, ему ни разу не довелось ни на себе, ни на своих товарищах ощутить направляющую руку сверху. Бег по болотам, по лесам, подрыв на собственных минах, вечный страх оказаться в окружении...

А вот тут было совсем другое. Вздрагивало перекрытие над головой, сыпался песок с потолка, бухали взрывы, а Горюнов кричал в трубку:

– Третий, третий! Где твои трактористы? Заснули? Что? Да, да, сейчас, сию минуту... Пятый? Трофимов, сукин сын? Я тебе что говорил? Лупи из всех зажигалок. Понял?

И еще и еще приказы в таком же духе.

Кончив разговаривать по телефону, Горюнов достал из кармана полшубка новехонький красного шелка кисет, видно, доставшийся ему из какой-нибудь посылки с Большой Земли, свернул сигарку, передал кисет им.

Анохин курить не стал, но сигарку свернул и положил в карман.

– Ну, хитрая душа, – рассмеялся Горюнов, – опять для своих писак калымишь?

– Приходится, товарищ Горюнов, – улыбнулся Анохин. – Худовато у нас с табачком.

– Ладно, – сказал Горюнов, – к вечеру обещали махру подбросить. Поделится. Мертвые курить не просят.

Да, мертвые курить не просят – и сотрудники газеты, и работники штаба, как вскоре убедился Александр Дмитриевич, курили в основном за счет мертвых.

– Ну, давай, Анохин, что у тебя сегодня? – сказал Горюнов и вдруг подмигнул Александру Дмитриевичу. – В части политикоморального можешь не говорить. Знаю.

Анохин то ли не понял шутки комбата, то ли пропустил мимо ушей, но заговорил на полном серьезе:



– А сигналы, товарищ Горюнов, у нас есть. Нехорошие сигналы.

– Ладно. Ты это комиссару Андронову скажешь, если, конечно, Андронов выберется из сегодняшней каши. Дальше?

– К сержанту Петруничеву пробраться надо.

Горюнов ответил не сразу – докурил сигарку, старательно раздавил окурок валенком.

С группой сержанта Петруничева уже второй день нет связи. Посылали людей трижды, и трижды никто не возвращался. Немец ни днем, ни ночью не спускает глаза с ложбинки, которую занял Петруничев. И вообще, по мнению Горюнова, это была зряшная затея с самого начала. Он возражал командиру полка. Правда, если бы удалось зацепиться за эту ложбинку, взять противотанковый ров было бы легче. Да разве немец глупый – не понимает, что к чему?

– Вот через часик стемнеет, – сказал Горюнов, – пошлем еще людей. Но вам я не советую. Жертв и без вас хватает.

Комбат, безусловно, был прав. За каким же дьяволом лезть на рожон, тем более, что, может быть, уже и Петруничева-то нет в живых?

Но Анохин свое: нет, у него задание, он не может. Он должен...

Горюнов махнул рукой, схватил трубку, которую протягивал ему телеграфист. Начался крикливый, с приправой, уже знакомый Александру Дмитриевичу разговор.

– А вам, товарищ Сойманов, пожалуй, лучше остаться, – великодушно предложил Анохин. – Вдвоем незачем. Побеседуйте с бойцами да с командирами.

Кретин! Сверхсознательный кретин! Нет, что бы его ни ждало, он тоже пойдет. Хорошенькая была бы у него репутация в газете, если бы там узнали, что он струсил!

## 5

Задание было выполнено. Они пробрались к бугру сержанта Петруничева.

Когда Александр Дмитриевич под утро ввалился в блиндаж Горюнова, они с последним насчитали семь рваных дыр в его шинели. У Анохина в ключья разнесло противогаз, пробило пулей командирскую сумку. А два бойца, которые сопровождали их, не вернулись вовсе.

Да, это была жуткая вылазка. Ни куста, ни кочки. Поднимаешься, падаешь, летишь в кромешную темноту, потом вдруг вспышка ракеты – и ты, как голая мышь, на ладони у немца... Но еще страшнее было там, на этих буграх, когда они ползали от одного трупа к другому и снимали с них медальоны – крохотные пластмассовые трубочки с адресами родных.

Он ненавидел, ругал Анохина самой злой и отборной бранью. И, наверно, эта злость и ненависть помогли ему сохранить самообладание.

Но зато как он был благодарен тому же Анохину потом, после того, как они благополучно вылезли из этой каши! И он уже не казался теперь ему маленьким упрямым кретином, по вине которого он едва не погиб. Напротив, Анохин в его воображении разросся до размеров богатыря, потому что очень щедр на эпитеты победитель.

Вернувшись в редакцию, они первым делом стали «отписываться», как принято говорить у газетчиков, то есть оформлять материал, принесенный с передовой.

Удивительный был этот вечер! В землянке, как в далекие детские времена, шумела печка. Благоухающее малиновое тепло обволакивало их, а возле печки еще лежали дрова – подкладывай, не ленись. И они разделались до нижних рубашек, по-домашнему. И можно было вволю курить, и желудок не был от голода – их неплохо подкормил комбат Горюнов.

– Самое главное, товарищ Сойманов, – сказал Анохин, когда они сели к столу, – это заголовок.

Без заголовка статья или очерк – что дзот без амбразуры. Не стреляет. – Он задумался и вдруг улыбнулся: – У нас писатель по этой части мастак. Ох, мастак! Все шапки в газете

его. «Бей по фашистам и ночью и днем снайперским точным смертельным огнем!» Вот ведь как сказано!

Крупным ученическим почерком Анохин вывел на бумаге:

«Подвиг сержанта Петруничева».

– Как, товарищ Сойманов, пойдет? Может, у вас позабористее что есть?

Александр Дмитриевич пожал плечами. Название, конечно, не из лучших. Попадались ему статейки с подобными названиями. А впрочем, Анохину виднее – у него опыт. И он знает, что нужно газете.

Через каких-нибудь полчаса-час статья была готова – Анохин накатал ее единым духом. И так же единым духом прочитал.

Александр Дмитриевич не знал, что и сказать. В общем это была стандартная безликая корреспонденция строк в сорок, сплошь начиненная штампами: «Несмотря на яростный шквал противника...», «Советские воины поклялись умереть, а не отдать на поругание врагу город Ленина – священную колыбель пролетарской революции...», «С криком “ура”, “За родину, за Сталина” поднялись в атаку...», «Советские бойцы делом отвечают на призыв великого вождя...», «Боевой счет продолжается...» – и ни единого живого слова о самом подвиге!

Черт побери, подумал Александр Дмитриевич, да ведь для того, чтобы написать такую корреспонденцию, совсем не нужно было лезть в пекло. И даже на передовую-то ходить незачем. А просто, не выходя из редакции, снять трубку и позвонить в батальон.

Анохин, видимо, заметив его замешательство, сказал:

– За художественность, товарищ Сойманов, не ручаюсь. У меня по этой части слабовато. Но все-таки словечки есть. Подходящие словечки. Проверяют. – И он снова с особым чувством перечитал словесные штампы.

Нет, для Анохина они не были штампами. Они сохраняли для него свое изначальное звучание – и не их ли жаром были опалены его толстые, сухие, запекшиеся, как у больного с температурой, губы?

В том же духе и в тех же выражениях были написаны еще три заметки: о Марусе-санитарке, которая за одну неделю вынесла 35 раненых из-под огня противника, о красноармейце Гришине, начинателе снайперского движения в Н-ской части, и, наконец, о хранении боевого оружия.

– Это вопрос очень важный, товарищ Сойманов. Государственный, – внушительно заметил Анохин. – И по этому вопросу надо написать донесение в политотдел. Куда же это годится? Винтовки валяются.

Александр Дмитриевич согласно качал головой, но сам он ничего не соображал. Он почти двое суток не смыкал глаз, и ему смертельно хотелось спать. В конце концов он не выдержал, привалился на топчан и тотчас же заснул.

Проснулся он от сильного грохота – били зенитки. В землянке горел свет. Вздрагивало бревенчатое перекрытие над головой, и сухой песок по-тараканьи шуршал за плакатами.

А Анохин? Что делает Анохин, низко склонившись над столом? Все еще пишет донесение? Нет, Анохин читал.

Александр Дмитриевич тихонько привстал, заглянул через его плечо. «Краткий курс истории ВКП(б)».

– Свет мешает, товарищ Сойманов? – Анохин поднял к нему красные, опухшие глаза в белых ресницах и вдруг с простодушием улыбнулся: – А я вот решил с часик поработать над собой, так сказать, подзаправиться идейно. А вообще-то, – добавил он, широко зевнув, – надо бы каждый день заглядывать в эту книгу.

На нашей работе без этой книги нельзя – живо прогоришь.

Да, ухали зенитки над головой, смерть ходила рядом, а в землянке, в окружении блокадных плакатов с суровыми ликами воинов и рабочих, сидел маленький, уже не молодой, не

спавший двое суток человек и читал «Краткий курс» с тем, чтобы во всеоружии встретить завтрашний день.

## 6

Странное отношение было к Анохину в редакции. Нельзя сказать, чтобы его по-своему не ценили. А как же! У кого безотказно работают ноги? У Анохина. Кто наверняка проберется на самый опасный участок передовой? Анохин. А как обойтись без Анохина в самой редакции? Он ведь при надобности и за наборщика отощавшего встать может, и в типографской машине поковыряется – пойдет. А задымила печка, холод собачий? «Ну-ка, Анохин, поколдуй». А если, наконец, ты, не выдержав, смалодушничал и «съел» свои талончики за день вперед – к кому обратиться за помощью? Кто поделится с тобой своим обедом?

И тем не менее никто не принимал Анохина всерьез. Над ним подтрунивали, посмеивались, его называли «наш пешеход». И, надо сказать, называли не без оснований, ибо те короткие трафаретные заметки, которые писал Анохин, чаще всего печатались в газете за безымянной подписью «наш кор».

Александр Дмитриевич на первых порах не разделял высокомерно-снисходительного тона своих товарищей, а потом и он не удержался. Дела его в газете пошли хорошо. За каких-нибудь полтора-два месяца он стал одним из ведущих работников редакции. Из частей теперь звонили: «А нельзя ли к нам прислать товарища Сойманова? Очень важный материал». А ведь было время – и давно ли, – когда редактор, читая его корреспонденции, скептически пожимал плечами: «Не уверен, не уверен, товарищ Сойманов, что газета ваше призвание. Под Анохина работаете».

Но особенно приподнялся он над своими товарищами, когда в «Красной звезде» напечатали его фронтовой очерк. Его поздравляли, для него сразу нашлось место в общежитии, наверху редакции. Но никто, кажется, не радовался так его успеху, как Анохин.

Анохин раздобыл где-то спирту, зазвал его к себе в землянку.

– Да, товарищ Сойманов, – говорил он, глядя на него восхищенными глазами, – вот ведь как все обернулось. Разве думал я тогда, что писателяведу на передовую.

– Да с чего ты взял, Анохин, что из меня выйдет писатель?

– Ну как же, товарищ Сойманов. На такую вышку взобрался – всесоюзная газета. Дальше уж что. Дальше художественность.

И он опять заговорил об этой самой художественности, которая не давалась ему. А потом вспомнил свою жизнь.

– Я ведь с чего, товарищ Сойманов, начинал? С селькоровских заметок. А это уж потом, в Красной Армии, мне направление дали. Валяй, говорят, Анохин. Комсомолец. Бедняк. Наука большевизма в крови.

– Ладно, Анохин, – оборвал его Александр Дмитриевич, – ты в другой раз доскажешь свою героическую биографию. А теперь поставь другую пластинку.

– Можно, – без всякой обиды согласился Анохин.

Но о чем говорить с Анохиным, кроме газеты? И он, допив спирт в стакане, ушел. А дня через три после этого над Анохиным разразилась беда. И Александр Дмитриевич долго потом терзался из-за своего хамства.

Беда в принципе ходит по пятам каждого газетчика. Перепутал фамилии в корреспонденции – нагоняй, передоверил источнику, не уточнил факты – персональное дело. А перекося освещение событий? Разве всегда ухватишься за главную нить в кипящем клубке событий? А газета не ждет. Подай материал в очередной номер. Но самое страшное – так называемые «волчьи ямы» в газете, то есть идеологические опечатки. Тогда «ЧП». Тогда песенка твоя спета.

И какие только заслоны не воздвигаются против этих опечаток! Три, четыре, пять человек внимательно шарят глазами по каждой строчке четырехполоски. Кроме того, для вычитки каждого номера выделяется еще специальное лицо – «свежая голова», сотрудник, которому перед этим дают возможность основательно отоспаться.

И все равно опечатки просачиваются. Причем нередко просачиваются уже в процессе самого печатания номера – и в этом-то все их коварство.

Скажем, подписал редактор вычитанный номер к печати – слава богу, все в порядке. И вдруг, этак с трехсотого экземпляра – брак. В чем дело? А оказывается, в отлитом стереотипе, с которого печатается номер, села литера.

И вот именно на такую-то «волчью яму» и напоролся Анохин, когда он был «свежей головой». В слове «главнокомандующий», начиная с двухсотого экземпляра, села буква «л». Ошибка ужасная, непоправимая! Правда, Анохин сам первый обнаружил ее, и порочные экземпляры не попали в части. Но «ЧП» есть «ЧП», и машина заработала.

Вечером на партийное собрание редакции в окружении свиты приехал сам начальник политотдела Каблуков. Смерив уничтожающим взглядом бледного, жалкого в своей замызганной, обвисшей на плечах гимнастерке Анохина, он сказал:

– Растяпа! Чучело гороховое! Тебе не в газете работать, а сортиры чистить. Посмотри, на кого ты похож.

Анохин не оправдывался. С видом обреченного он стоял у печки и ждал приговора.

Инструктор политотдела напомнил собранию, что в 1938 году Анохин подвергнулся репрессии.

– Почему скрывал этот факт своей биографии?

Анохин разомкнул свои железные зубы, и смутная догадка относительно их происхождения родилась у Александра Дмитриевича.

– Я, товарищи, не скрывал. В анкетах я указывал.

– За что сидел? – оборвал его инструктор. – По 58-й?

– Да, товарищи, за неразоблачение троцкистского руководства дивизионной газеты. Я тогда, товарищи, начинал работать инструктором информации.

– Подробности твоей биографии собрание не интересуют, – опять оборвал Анохина инструктор. – По существу.

– А по существу, действительно, товарищи, политическое лицо врага народа не разглядел.

– Ясно, – сказал Каблуков. – Линия налицо.

И Анохина второй раз исключили из партии и послали в штрафной батальон.

## 7

Басюта уже второй раз спрашивал его:

– Ты чего? Тебе нехорошо?

– Грипп, наверно.

Его и в самом деле познабливало. Ладони у него противно мокрели. Но он-то знал, что это за грипп. Анохин...

Да, сказал себе Александр Дмитриевич, если бы ты тогда встретился с ним, может быть, ничего бы этого и не было.

На трибуну всходил очередной оратор.

Александр Дмитриевич вырвал из блокнота листок, написал:

«Пойду в поликлинику. Позвони вечером».

На улице кончался серый ленинградский денек. Густо шел снег. Он поднял воротник, вышел к Неве.

Какой-то человек вынырнул из снежной замяти и попросил у него прикурить. Александр Дмитриевич достал спички. Вспыхнул огонек, осветив красные короткопалые руки, сложенные ковшиком. Потом он увидел лицо, склонившееся над спичкой. Красное, белобрысое, с острыми скулами.

Он проводил взглядом человека, пока тот не скрылся из виду в снежной замяти, посмотрел вокруг, и ему стало не по себе.

Да, удивительно, как пересекались их дороги.

Была весна. Играло солнце. Ладожский лед шел по Неве. И на душе у него тоже была весна: его только что приняли в Союз писателей. И как раз в то самое время, когда он стоял, опершись руками о гранит набережной, и пьяными глазами смотрел на реку, его окликнули:

– Товарищ Сойманов?

Он оглянулся. Боже ты мой! Да нет, не может быть. Гимнастерка комом, до колен, на плечах обвисла, точно с чужого плеча. Кирзовые стоптанные сапоги. Но такое сияние в рыжих глазах!

И рот стальной до ушей.

– Читал, читал вашу книгу. Навылет бьет.

– Ну а ты как, Анохин? О, да ты, я вижу, нахватал... – На груди у Анохина два ордена Красной звезды, «Отечественная война», медали.

– Есть маленько. Кое в каких переделках побывал. – (Александр Дмитриевич не спрашивал: раз уж Анохин так говорит, то, значит, и в самом деле, жарковато было.) – Но главное-то, товарищ Сойманов, я красную книжечку себе вернул, – и Анохин, застенчиво улыбаясь, провел рыжей рукой по карману гимнастерки. – А я тогда уж думал, с эдакой политической ошибкой мне капут. Ведь вот что прохлопал. Страшно подумать. У нас до войны политрук запятую в речи вождя пропустил – строгаца дали. А я-то что? Ужас.

– Ну а в газету не тянет? Не думаешь возвращаться?

– Да что вы, товарищ Сойманов? Я в газете.

– В газете?

– Ну а как же? Сразу после войны. – По лицу Анохина прошла тень неудовольствия. Что, мол, за вопрос? Как же он да вне газеты!

– И опять на информации?

– На информации. Трудно вот только, товарищ Сойманов. Раньше, бывало, в войну, все ясно: в бой идем. А теперь, брат, задачи другие. Воспитание. Подход надо. И солдат пошел – ого – грамотный. Ну, ладно, товарищ Сойманов, зарпортовался. Я ведь, это, в часть бегу. – И Анохин переступил с ноги на ногу.

– А Ленка как? Растет? Анохин так весь и просиял.

– Растет. Такой, брат, критикан – меня ни во что. А сочинения пишет! Ну, просто талант, товарищ Сойманов. Даже эта художественность намечается. Может, писатель еще выйдет. Вот только насчет жильишка у нас с ним худовато. Старую комнату разбомбило. Ну да ничего, – сразу взбодрился Анохин. – Кончим восстановительный период, тогда и мы с Леонидом устроимся.

Тут уж Анохин окончательно поставил точку – протянул руку и побежал, слегка наклонившись вперед и шаркая кирзовыми сапогами, все такой же неутомимый хлопотун и работага. И та же кирзовая сумка болталась у него сбоку, и, наверно, тот же «Краткий курс» был в этой сумке.

И была еще одна встреча у них – в день смерти Сталина. Тот, кто пережил этот день, запомнил его, конечно, на всю жизнь. Тоска невыносимая. Казалось, все рушится. Сама жизнь лишилась всякого смысла. И именно в этот день хотелось быть в родной семье, почувствовать плечо тех, с которыми прошел всю войну.

Отделы редакции пустовали – все были на траурном митинге. И только один Анохин находился на своем посту – для него и в этот час нашлась работа.

Со стены из траурной рамы на Анохина глядел человек с жесткими усами, а он стоял за столом, клеил макет газеты и плакал.

Увидев Александра Дмитриевича, он поднял на него мутные красные глаза, заширкал распухшим носом.

– Как будем жить-то, товарищ Сойманов? Александр Дмитриевич сел к столу и тоже заплакал.

## 8

Из редакции выходили служащие, гражданские, военные, – рабочий день кончился.

Александр Дмитриевич поднялся по лестнице на второй этаж и оказался в длинном глухом коридоре. На стенах – знакомые фотографии: видные газетчики, журналисты и писатели на войне. На одной фотографии была и его персона – «наш корреспондент на передовой среди бойцов». А вот Анохина – он это знал – тут не было.

Александр Дмитриевич прошел к замредактора.

– А, тебя-то нам и надо. Получил нашу депешу?

– Какую депешу?

– Ну получишь. Только чур – не отказываться. Дата крупная. Сам знаешь.

Александр Дмитриевич понял: речь идет о привлечении его к работе над праздничным номером, посвященном снятию блокады Ленинграда. Но сейчас ему было не до этого. И он, не зная, как заговорить о том, ради чего пришел сюда, начал издали:

– Слушай, я все хочу тебя спросить... Вы, газета, не интересовались делом сына Анохина?

Нижняя губа у замредактора оттянулась. Он всегда, как говорили сотрудники, больше полагался на свою губу, чем на ухо.

Пришлось уточнить вопрос.

– А, ты вот о чем. Ну, там и дела-то никакого не было. Грязь.

А парень Анохина там и вовсе ни при чем.

– Ни при чем?

– Ну да. Парня, можно сказать, за компанию замели. Это его дружки-приятели с девочкой развлекались, а он-то, как теленок, в соседней комнате спал.

– А Анохин не знал этого?

– А откуда ему знать? Это уж после ареста, в ходе следствия выяснилось. А тогда бумага из милиции пришла. Реагировать надо. Ну, мы вызвали на партбюро. Поговорили. Правда, поговорили крепко. Что ж ты, говорим, солдат воспитываешь, а сына своего проглядел. Можешь ты, говорим, после этого в газете работать?

И понимаешь, что всего удивительнее. Он ведь все сам признал, со всем согласился. «Да, говорит, признаю. Не доглядел. Признаю, товарищи, что допустил серьезную политическую ошибку».

«Да, да, – говорил себе Александр Дмитриевич, – так оно и было». И он вспомнил 1942 год, партийное собрание в прифронтовой газете... И, наверно, так же вот и на этот раз Анохин стоял перед своими товарищами и искренно, со всей беспощадностью казнил себя. Но, боже, трудно даже представить, что творилось у него на душе! Погиб Ленка, рухнуло моральное право работать в газете... И если раньше Александр Дмитриевич мог еще допускать, что с Анохиным произошел несчастный случай, то теперь он знал твердо: Анохин сам своей рукой вычеркнул себя из жизни. Он поднял голову, сказал:

– Я напишу о нем, об Анохине.

– Об Анохине? Для праздничного номера? Ты шутишь?

– Нет, не шучу.

Замредактора подтянул нижнюю губу.

– А что же поучительного ты извлечешь из Анохина? Конечно, ежели по-человечески подойти, старика жалко. Да ты ведь знаешь, что он за газетчик был. Пустяковая информация, какойнибудь выход на стрельбище. А наворотит такого – треск один. Нас засыпали жалобами и офицеры, и солдаты.

– На Анохина?

– Да, на его информацию. И уж если откровенно говорить, то мы даже подумывали списывать его. А что делать? Нет, не вижу, что бы ты мог извлечь поучительного, – опять с той же профессиональной практичностью поставил вопрос замредактора.

Александр Дмитриевич и сам думал об этом. В самом деле, почему он вдруг предложил написать об Анохине? Каких-либо героических деяний за ним нет. Газетчик он никудышный. Так что же? Неужели им движет только одно желание – загладить как-то свою вину перед Анохиным?

И мысленно он попытался откуда-то со стороны посмотреть на Анохина. Маленький малограмотный работяга. Ограниченный. Беспрекословно исполнительный. Винтик, как сказали бы еще совсем недавно. И в то же время такой энтузиазм и бескорыстие, такая идейная одержимость и готовность к самопожертвованию...

В последнее время Александр Дмитриевич часто задумывался над нашим историческим путем. И вот сейчас ему вдруг подумалось, что, может быть, именно в Анохине – а таких миллионы – и надо искать отгадку наших побед и роковых заблуждений в недавнем прошлом.

– Нет, мы-то вот о чем хотели тебя просить, – сказал замредактора. – О себе написать.

– Обо мне?

– Да. Что бы ты, например, сказал о таком сюжетце: путь от рядового корреспондента к писателю. Примерно, конечно. Вот это было бы поучительно! А?

Александр Дмитриевич медленно покачал головой.

– Я хочу написать об Анохине.

– Ну, это твое дело. Только имей в виду – нам-то нужен материал другой. Через недельку ждем.

## 9

Прошло пять лет. Александр Дмитриевич давно уже забыл о своих переживаниях, вызванных внезапным уходом из жизни Анохина. И казалось, на этом поставлен крест. Казалось, Анохин никогда уже больше не постучится в его сердце. А вот постучался. Как-то в начале июля Александр Дмитриевич выступал перед читателями за городом. Встреча кончилась довольно быстро. Людей собралось мало – несколько пенсионеров и домохозяек, да и те, судя по всему, спешили на свои огороды.

В общем, из библиотеки он вышел усталый, неудовлетворенный и вместо того, чтобы отправиться на станцию, пошел к березовой роще – высоким белым деревьям на холму. Роща оказалась местным кладбищем.

И вот, войдя за оградку, он долго бродил по солнечным аллеям и дорожкам, с каким-то особым наслаждением вдыхая в себя горьковатый клейкий запах березовой молодилы. Потом, когда ему надоело бродить, он вышел на окраину кладбища и сел на сухую заброшенную могилу. И опять ему было хорошо: сиди, слушай бездумно птичий концерт да смотри в голубое небо.

Скоро, однако, к его огорчению, появились комары. Сперва в виде одиноких разведчиков, а потом все гуще, гуще, и вот уже целые армады гудят вокруг его головы. Надо было ух-

дить. А уходить так не хотелось. Солнце пошло на закат, белоногие березы, как в стихах Прокофьева, опоясались алыми лентами, и птицы, словно залюбовавшись ими, примолкли. Когда он еще увидит такую красоту?

Александр Дмитриевич привстал, потянулся к распушенной березке, чтобы сорвать ветку, и тут взгляд его упал на соседнюю могилу, на небольшую пирамидку из розового гранита:

## **Анохин С. И**

**1904–1957**

Анохин... Савватий Иванович Анохин. (Теперь-то он знал, как звали его фронтового товарища.) Так вот где они еще раз встретились.

Могилка густо заросла травой, а стандартная из дешевого гранита пирамидка совсем еще свежая.

Кто же поставил ее? Кому дорога память об Анохине? Газета? Родственники? Но родственников, вроде братьев или сестер, у Анохина не было – Александр Дмитриевич два раза перечитывал его личное дело в отделе кадров. Значит, остается один человек, который мог позаботиться о могиле Анохина, – Ленька. Да, Ленька... Где он теперь?

Тогда, под свежим впечатлением смерти Анохина, Александр Дмитриевич пытался разыскать его, наводил разные справки, но в городе его не оказалось. И никто не мог сказать ему, куда исчез парень. Правда, потом, года два назад, фамилия «Анохин» и, кажется, даже с инициалом «Л» два попадалась ему в московских журналах – один раз под очерком, другой – под рассказом. Но разве мог он подумать, что это Ленька? Мало ли у нас Анохиных?

А вот теперь, всматриваясь в этот гранитный памятник на зеленой могиле, он как-то сразу решил: Л. Анохин – это Ленька.

Да, думал Александр Дмитриевич, сбылась твоя мечта, Анохин. Ленька вышел в писатели. И, может быть, именно Ленька напишет о тебе.

Ну а что касается его самого... Нет, он хотел, очень хотел выполнить свой долг перед Анохиным. Так в чем же дело? Почему он забросил эту работу, за которую взялся с таким увлечением?

Перед покойником не лгут. И если раньше он мог еще как-то обманывать себя на этот счет, то теперь он должен был сказать правду: струсил. Струсил, потому что слишком уж далеко заходили его раздумья об Анохине. Маленький, неказистый человечико, которого и всерьез-то никто не принимал, а орешком оказался таким, что ломаются зубы. И ни в какую привычную схему не уложишь его: ни в положительную, ни в отрицательную.

И еще понял сейчас Александр Дмитриевич: писать об Анохине – значит писать и о самом себе. А способен ли он на это? Хватит ли у него мужества обнажить себя до конца, выставить себя перед читателем таким, какой он есть на самом деле?

– Да, дружище Анохин, – сказал вслух Александр Дмитриевич, – выходит, и у меня нет этой самой художественности, о которой, помнишь, ты говорил... Только не той, как ты думал.



## Кто он?

### *Фрагменты незавершенной повести*

В основе повести – автобиографический материал, связанный с работой Абрамова в отделе контрразведки «Смерш» Архангельского военного округа в 1943–1945 годы. Первые наброски сделаны в 1958 году, последняя запись – в 1980 году. Более двадцати лет воспоминаний и размышлений, более семисот рукописных страниц хранит папка под названием «Кто он?».

Первые заметки 1958 года позволяют понять, как и когда молодой Абрамов попал на работу в «Смерш». Было ему в ту пору 23 года. После тяжелого ранения, после блокадного госпиталя и переправы по Дороге жизни весной 1942 года он провел четыре месяца на родном Пинежье. А затем снова вернулся в армию. Сперва служил в запасном стрелковом полку, а с февраля по апрель 1943 года был курсантом Военно-пулеметного училища в Цигломени под Архангельском. А оттуда – не по своей воле – был внезапно, ночью приведен в отдел контрразведки. Этот автобиографический эпизод писатель намеревался использовать в повести. В разные годы он вновь и вновь вспоминал те страшные часы, которые пережил весной 1943 года.

Ночью трех курсантов военного училища неожиданно подняли и под конвоем повели в весеннюю распутицу по ночному Архангельску. На вопрос, куда ведут, – окрик: «Не разговаривать!», а затем короткое: «Увидите. В контрразведку». «Зачем в контрразведку?» «И сразу – вспоминал Абрамов – страх. Жуткий страх. Спрашивал себя: чем провинился». Стал перебирать в памяти юность, фронт, разговоры в училище. «Что, где сказал... Столовую ругал – плохо кормят. В ночи какие страхи не приходят. И уже считал себя виноватым».

А когда вошли в здание контрразведки, то случилось вовсе неожиданное, тоже запомнившееся на всю жизнь. В вестибюле увидел красивую девушку в телогрейке (как оказалось, местная сотрудница). Она улыбнулась, поздоровалась с пришедшими со словами: «Это, наверно, новенькие, да?» Эта молодая женщина – Фаина Раус – сразу покорила будущего следователя. Их знакомство, споры, увлечение, взаимоотношения деловые и личные должны были занять немалое место в повести.

В отличие от двух курсантов-сверстников, приведенных вместе с ним, Абрамов не понравился начальству. Его отправили в «отдел на ловлю дезертиров». Он «ходил по дворам, по помойкам», а кроме того работал «с картотекой», оформлял чужие протоколы, зачастую правил их, так как они нередко были написаны неграмотно. По этому поводу не раз возникали конфликты и с сослуживцами и с начальством. Пример тому – разговор с Фаиной по поводу протоколов:

« – Неграмотно это, понимаешь?

– А полковник мне это никогда не говорил.

– Ну и что?

– Что? А у него высшее образование, а у тебя, насколько я знаю, его нет. Три курса университета.

– А ты думаешь, если высшее образование – значит грамотный? Запомни, это на службе ценятся генералы, а в грамматике они никакой цены не имеют».

С иронией замечал писатель, что тот же полковник «не признавал авторитетов в грамматике. Раз генерал написал – ничего грамотнее нет». Герой спорит с полковником. В вопросах грамматики генералы «не командуют. Тут не может быть субординации, подчинения. Есть один генерал – истина».

Но, может быть, самый яркий автобиографический эпизод, который хотел автор использовать в повести, связан с его выступлением на теоретическом собеседовании, когда доклад

по четвертой главе «Краткого курса истории партии» делал подполковник Васильев. Этому эпизоду посвящено несколько заметок.

Привожу только первую, датированную 2 мая 1958 года.

«Выступление Васильева. Моя наивность. Вообразил, что я на семинаре. Главное же – истина. Человек порет чушь – и все молчат. Попросил слова. Начал избличать Васильева. «Предыдущий оратор».

Вдруг почувствовал – неестественная тишина. Смотрю: все отвернули от меня глаза. Лишь генерал внимательно смотрит. В чем дело?

После собеседования меня вызвал Перепелица – секретарь партбюро.

– Ты понимаешь, что наделал? Авторитет подрываешь.

– Но ведь он говорил неправильно. Как же можно соглашаться? Нельзя оставить вопрос невыясненным.

– Ты, пойми – в армии».

Столь же резко отозвались сослуживцы: «Перов встретил: дурак. Кошкарев (презрительно и наставительно): дисциплины не знаешь. Устав почитай».

В 1964 году в более развернутой заметке писатель отмечал, какие последствия для него имело то выступление: «меня совершенно возненавидел Васильев», в отделе кадров «взяли на учет», завели «дело». «Меня заметил генерал и начальник следственного отделения и поэтому, я думаю, меня вскоре же перевели в следственное отделение».

Но и в следственном отделе над ним нередко посмеивались, называя его «доводителем», «доследователем».

«Меня страшно огорчало: я – доводитель, особенно те дела, которые шли на особое совещание. Случалось, что я целые дела заново переписывал. И тут доводить дали. Боже, что это были за протоколы. Потому-то и кабинет у меня такой был – в подвале. Надо мной посмеивались. Офицеры не очень-то придавали значение грамоте». Заметки свидетельствуют, что Абрамов в те годы немало страдал от голода, холода, одиночества, униженности.

Вечно голодный, он доедал объедки с тарелок начальства, которое снабжалось по особым, высшим нормам. О том – несколько записей.

«А почему различия в норме? Ведь брюхо-то одинаково. Это была самая ужасная несправедливость. И глядя объедки на тарелке Васильева, я возненавидел его еще больше».

Одна из заметок так и называлась – «Голод»:

«Во время дежурства он доедал остатки картошки или блинов.

Ах, какие это были блины! Он боялся съесть всю картошку.

А вдруг Васильев завтра хватится? Ему и в голову не приходило, что тот не доел, как недоедают закормленные люди в столовых.

К сахару – иногда оставались кусочки – он вообще не смел притрагиваться. Ему, голодному, казалось, что люди замечают все, что связано с едой, так же, как он.

И он был крайне удивлен, когда назавтра уборщица... вывалила остатки блинов в урну».

Уборщица «презирала меня. Почему? Потому, что догадывалась наверно, что я доедал объедки Васильева.

А как я делал? Я не все съедал. Оставлял, чтобы сохранить благородство... Здесь всю войну. Всю биографию мою».

Холодным и мрачным был «кабинет», где он работал.

«Я никогда не жил в подвале, но я всегда, когда читал об этом, представлял себе мой кабинет. Длинный, как гроб, с одним окном. Летом окна не выставляли – запрещено. 1-й этаж. Зимой темно, летом тоже. Пыль... Рядом комната пустовала – никто не хотел занять, хотя с помещением было туго».

*16 ноября 1976 года*

«Герой (я) жаждал романтики. Страх перед МГБ (еще в школе) – бывало, идут, дрожь, дух захватывает... Учителя забрали...

Страх, доходящий порой до ужаса, и радость предвкушения романтики. Контрразведка... Против разведки... “Смерш”...

Смерть шпионам».

Первые месяцы работы разочаровали. «Все скучно», однообразно, «героических дел ждал. Романтики. А на деле...» никакой романтики, «унылая проза»: работа с картотекой, «ловля дезертиров» («по помойкам, по дворам»), переписывание чужих неграмотных протоколов.

«Надежды вспыхнули, когда в следственное попал». Но и там следователь испытывает острую неудовлетворенность. «Шел: думал, чудеса будут. А на деле одни антисоветчики. В колхозе жрать нечего. Клевета на советский строй». В антисоветской агитации, в клевете на советский строй обвиняли невинных людей лишь за то, что они говорили о голоде в деревне, об отсутствии оружия на фронте, об отступлении, о затянувшейся войне.

Показательны выводы, к которым приходит следователь, перебирая скопившиеся у него дела.

«Постановление об аресте. Ордер на арест, обвинение... в том, что, будучи рядовым, систематически клеветал на советскую действительность, выразившуюся в том, что порицал колхозный строй...

2-я папка. Дело №... То же самое. Однозначные свидетельские показания.

Дело №... То же самое. Разница в именах.

Три новых дела и все одинаковы. 9 дел в столе. Таких же. Надо вызывать. Надо начинать допрос...

Но боже мой, только представить, что все то же самое... И какая клевета... Ведь действительно жрать нечего. Он сам получил письмо: умер в колхозе от голода...»

Сомнения в правоте совершаемого, нелепость однообразных дел, полное одиночество все больше угнетают героя. Он начинает думать о бессмысленности дальнейшего пребывания в контрразведке. Толчком к решительному поступку послужило письмо с известием о гибели брата на фронте.

«Надо что-то делать, – думает следователь. – С ума сойти от этого. И имеет ли он право? Разве это работа? Это же черт знает что. Нет, его место не здесь... Надо решаться. Он шел сюда, думал, дух захватит романтика. А пришел – что за работа?» «Что делаю? Ерунду какую-то. Разве это дело?»

Он пишет заявление «об отправке на фронт». Но автор далек от идеализации героя, который не свободен от честолюбивых помыслов. «Пишу заявление. Фаины я здесь не завоюю. На фронте завоюю: или грудь в крестах, или голова в кустах».

В этот момент следователя неожиданно вызывают к генералу, неожиданно поручают важное, запутанное дело.

«К генералу вызывали редко – и первая реакция: зачем?..

Я не боялся генерала. Мысленно проверил, какие у меня проступки. Вроде бы не было...

Я постучал в дверь. И не ожидая, что ответят, вошел. Вытянулся.

– Садись, Абрамов, – сказал генерал. Я сел.

– Видишь это дело? Я пожал плечами.

– В этом деле лежит твой орден. Правильно, Алексей Иванович?

Алексей Иванович в знак согласия медленно помотал головой.

– В общем, так, мы вот посоветовались с Алексеем Ивановичем и решили поручить тебе дело. Дело это важное, Абрамов, вот почему я и говорю, что в этом деле лежит твой орден. А может, и не один твой...

Тут Васильев подошел к делу и начал своим скрипучим голосом объяснять суть дела.

Дело прислали из гарнизона. Оно почти закончено. Нужно: навести блеск (я занимался этим), ликвидировать противоречия.

И выявить связи...»

В разных вариантах автор по-иному объяснял, почему поручили важное дело молодому следователю. Например, в заметке от 3 апреля 1963 года события изложены несколько иначе: «Провалы партизанских операций были – и Москва взяла дело на учет.

Звонят из Москвы: когда будут вскрыты “связи”. Что же вы тянете?

А связей нет. Решили так: тихо, спокойно спустить на тормозах, как в таких случаях выходили из положения. Дело дали для наведения блеска молодому следователю. Грамотный.

Другие – поопытнее – следователи под тем или иным предлогом уклонились. Возможен брак – все уже знали, как работал вологодский оперуполномоченный.

А молодой следователь возгордился: какое дело доверили».

Писатель собирался рассказать, как сразу изменилось отношение сотрудников к следователю, когда стало известно о порученном ему деле. Если раньше они посмеивались над ним, то теперь проявляли повышенный интерес. Да и у следователя появились надежды. «Наконец-то настоящее». Ему рисовались «радужные перспективы» – успех, слава, завоеует внимание любимой женщины.

Сохранилось несколько черновых набросков, где автор довольно подробно излагает, как следователь изучает дело, листает протоколы предыдущих допросов, разглядывает фотографию арестованного.

С легкой иронией замечает писатель, как молодой следователь, не имевший специального юридического образования, использует приемы, подсказанные другими сотрудниками.

«Я начинал с разглядывания фотографии. Этому меня научил следователь, сидевший за стеной, Бувев.

Важно, говорил Бувев, сразу же вызвать в себе ненависть к подсудимому. И он накачивал себя ненавистью. Потому что следствие – поединок, кто кого. И надо еще до чтения дела, говорил Бувев, возненавидеть этого гада. Тогда успех обеспечен.

Тюремная фотография обвиняемого, сколько я не разглядывал его, не возбудила во мне никаких чувств. Заурядное лицо, небритое, по-тюремному худое, остриженная голова, шинель.

Затем начал читать предъявленное обвинение.

Трофимов И. В., 1922 г. р., русский, образование, б/п, в 1941 году, участвуя в качестве рядового в боях под Ельней, сдался в плен фашистам, временно захватившим советскую территорию, затем в лагере был завербован гитлеровской контрразведкой и направлен в партизанский край для ведения разлагающей подрывной работы, что, маскируясь, и делал... Принимал участие в разгроме... Встречался с полицаем. Кроме того, для облегчения провокационной работы вступил в брак с гражданкой...

– Гад, гад, – подумал я.

То, что не дала мне фотография, дало обвинительное заключение. Я с уверенностью приступил к чтению дела».

«Дело нешуточное. И не зря на контроле Москвы. В деле были названы фамилии людей, с которыми он встречался. Справки партизанского штаба движения. О провокациях. Но главной уликой были письма обвиняемого. Какой балбес пишет жене?... Ненависть во мне клокотала. Как раз незадолго до этого убили у меня брата. А этот гад ползучий. Сдался. Служил и т. д.»

Вывод:

«Дело меня захватило. Матерый шпион».

Дальше следовало описание выходного воскресного дня, загородной поездки с сотрудниками, развлечения, успеху Фаины.

А на следующий день – первая встреча с арестованным.

«Но каково же было мое удивление, когда назавтра я увидел чахлого, невзрачного парнишку. Признаюсь, у меня как-то не укладывались в сознании дела, которые сделал этот человек, и его облик».

Первый неудачный допрос, когда подследственный Григорий отказался и от предъявляемых обвинений, и от своих прежних показаний, поверг следователя в уныние. Однако он объяснял неудачу бессонной ночью, несобранностью, потерей инициативы.

Но чем дальше шли допросы, сомнения все больше одолевали. Григорий уверял, что ранее он дал ложные показания и признал обвинение только под давлением страха и угроз вологодского следователя. А на вопрос, почему он «жену оговорил», впутал ее в дело, подследственный объяснил, что только жена может спасти его, восстановить правду, ибо только ей могут поверить, ее все хорошо знают в Брянской области. Она – комсорг партизанского отряда, а родители ее погибли от фашистов.

Появление молодой арестованной женщины, ее облик, поведение навсегда врезались в память Абрамова. Он не раз с восхищением рассказывал мне и друзьям, как вела себя Мария при первой очной ставке с мужем. Она с негодованием допрашивала следователя: по какому праву ее, партизанку, комсомолку, арестовывают без всяких доказательств, унижают, везут в скотских условиях. А когда она узнала, что во всем виноват муж, что он признал обвинения и назвал ее пособницей, она со словами «подлец» ударила его по лицу. Не поверить ей было невозможно. Одной из ключевых сцен повести могла бы стать сцена свидания-допроса подследственного Григория и его жены Марии. В ней противостояли три характера, три типа поведения: запуганный и жалкий Григорий, смелая, сильная духом, уверенная в своей правоте Мария и следователь, терзаемый сомнениями.

Сохранилось несколько авторских заметок о Марии.

«Девушка меня поразила с самого начала. Так не может лгать человек. Надо быть круглым идиотом, чтобы сомневаться, что человек, у которого расстреляли отца и повесили мать, работал на немцев».

«Героиня, привезенная в телячьем вагоне, предстала перед следователем в белом платке. Она не чувствовала себя заключенной, наоборот, вошла как обвинитель... Сила духа...»

В заметке от 28 ноября 1964 года Абрамов размышлял: «Белый платок. Может быть, он на самом деле и не был таким белым. Может быть, я преувеличиваю? Но он действительно остался в моем сознании белым».

Но, даже поверив Марии, следователь поначалу боялся «признаться себе, что она не виновата». Писатель намеревался в дальнейшем повествовании сосредоточить внимание на переживаниях героя, на его сомнениях и исканиях выхода.

В душе следователя, находящегося под гипнозом директивных установок, долгое время противостоят страх, сомнения и совесть, человечность, поиски истины. Еще 28 февраля 1958 года Абрамов конспективно излагал суть переживаний героя:

«Почти уверовал, боясь признаться себе, что она не виновата. Как доказать?»

Страшное дело. Я уже стал искать пути для доказательства их невиновности. Но это еще ничего. А как доказать? Запросить штаб, район, откуда она?

Вся нелепость в том, что даже если перед тобой совершенно невиновный человек, то его все равно нельзя выпустить. Нужны бумажки. И мне – я боялся признаться в этом – надо было опровергнуть обвинение. Из следователя я превращался в адвоката». Постепенно совесть одерживала верх над страхом и сомнениями. Он долго думал, как доказать невиновность арестованных. Хотел посоветоваться с сотрудниками, с начальством. Но Васильев отверг всякие колебания и пригрозил: «На кого работаешь?» Сам попадешь «на мхи» (то есть в лагерь).

Одна из заметок 1964 года так и называлась «С кем посоветоваться?».

«С Рюминым? – Нет. С Перепелицей (парторгом). Так обычно делают во всех романах. Но это был дурак. И все дело во власти Васильева. Я пошел к Диме Скнарину. Он интелли-

гентный человек. Опытный. Он сказал мне: “Не забывай, что ты в органах...” Я понял – мне не с кем советоваться».

Следователю становится ясно, что все обвинение держится на письмах Григория к жене. Письма находились в деле. Но Григорий настойчиво утверждал, что таких писем он не писал. А когда следователь показывал ему письма и спрашивал, его ли они, Григорий признавался: вроде мои. Почерк-то был его.

Следователь недоумевал: письмо «прямо написано как донос на себя». Зачем он это сделал? Возникла догадка: «Письмо это подделано. А кто подделал? Видимо, из тех, кто действительно хотел замести следы».

Чтобы подтвердить свою догадку, следователь на свой страх и риск (а риск был немалый), тайком от начальства отдает письма на экспертизу, просит удостоверить, принадлежат ли они Григорию.

Писатель собирался передать те переживания, тот страх, который испытывал следователь и тогда, когда нес письма на экспертизу, ожидал ответа, и особенно в тот момент, когда экспертиза подтвердила подложность писем. Тогда я почувствовал весь ужас. Я долго не мог взять письмо и заключение.

– Да берите же, берите...

И вдруг меня вырвало. Хотя я ел».

Абрамов не решил окончательно, как ввести фигуру подлинного «шпиона», того, кто и подделал письма. Первоначально в заметке 1958 года кратко воспроизведена первая встреча с ним и допрос.

«Привезли шпиона. Крепкий детина. Держался он свободно.

– Ну, рассказывай. Попал.

– А что рассказывать? Где доказательства?

– На ноге.

– Э, брось начальник.

– Но ведь ты же отстреливался.

– А то как! В прифронтовой полосе. Выглянул из вагона, а тут цепи движутся. А ну немцы? Нет, браток, – поживи-ко всю войну в партизанах, они тебе во сне и наяву снятся.

Потом пришел документ: кулацкий сын. Я больше не сомневался.

– Ну, кулацкий выbleядок, говори.

Хорошо был натренирован, а этого оскорбления не вынес.

– Я кулацкий выbleядок? Да я за этого кулака глотки рвал и рвать буду до тех пор, пока не подохну».

Позже, 28 мая 1961 года писатель излагал подробную историю подделки писем (см. приложение). Но потом сомневался, нужна ли подобная детективная история, уводящая от философской проблематики повести. 22 ноября 1964 года он рассуждал в заметке под названием «Действительный враг».

«Я не буду распространяться много относительно биографии. Он сразу меня убедил. Не буду также воспроизводить все, что он говорил. И т. д. Уже и то, что я говорю здесь, похоже на детектив. А мне меньше всего хочется этого».

В 1975 и 1976 годах автор подчеркивал, что это «твердый убежденный человек», «этот мог выдать отряд немцам. Крепкий, смелый человек». Тогда же писатель предполагал ввести исповедь раскулаченного и объяснить, почему он «перешел к немцам». «Каким унижениям подвергался он в 30-е годы. Хотел служить советской власти – не давали. А потом надо умирать – доверили. Умирать доверили. Иди».

21 ноября 1964 года Абрамов конспективно набросал концовку повести. Привожу с небольшими сокращениями.

«Месяц я ходил в ужасном состоянии. Меня никуда не вызывали. Мне ничего не давали. И я подолгу сидел в кабинете. Ко мне даже вахтеры (охрана) изменили отношение. Мартюшев, например, требовал пропуск и делал вид, что не узнает меня.

Кабинет холодный. Плитку от меня унесли. И я сидел в этом кабинете и чувствовал себя будто заживо погребенным.

Ночью я проходил мимо здания МГБ. Это самое ужасное – чувство страха. Вот-вот арестуют. Почему именно тогда, когда я подходил к нему. Думаю, это страх с 1937 г.

С Фаиной я расстался.

Никто не поддерживал меня... Нет, вру. Все-таки была поддержка: меня поддерживали прежде всего мертвецы: Калининцев, брат... он бы не струсил...

И был еще один живой человек – Мария. Она написала мне два письма за один месяц. Благодарные. И как она устроилась. Но я не ответил. Мной владел страх. Я переживал нечто такое: поднялся на вышку. А она качается, вот-вот сбросит тебя.

Кончился этот страх, если и не полностью, то во всяком случае через месяц. Мне сделали освидетельствование и признали непригодным для службы в “Смерш”. Зато признали годным к службе на фронте.

И вот я уезжал. Никто меня не провожал.

Радость. Я почувствовал себя человеком. Но я не буду скрывать. Когда я приехал на фронт, я думал – там разделяются со мной. Но меня даже не ранило на этот раз на фронте.

Кончил я войну в Берлине».

## ИЗ ЦИКЛОВ «ТРАВА-МУРАВА» И «БЫЛИ-НЕБЫЛИ»

### Вкус победы

– Я долго, до восьми лет, хлеб победой называла.

Как сейчас помню. Бегаем, играем с девочками возле нашего дома, и вдруг: «Санко, Санко приехал!» А Санко – старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке.

Солдат. Медали во всю грудь. С каждой за руку здороваются, у каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит. А потом и говорит: «Я, говорит, Победу вам, девки, привез».

А мы, малоросия, что понимаем? Вылупили на него глаза как баран на ворота. Нам бы Победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло.

Ну догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. «Вот, говорит, девки, так Победа-то выглядит». Да давай эту буханку на всех резать.

Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха да картошки, а я в слезы: «Победы хочу...»



## Отрыжка войны

У Ивана Ф. со Слуды больная печень. Даже водки мужик в рот не берет. А лет ему – пустяки: 1935 года рождения.

– Война, война, видно, берет свое, – вздыхает Иван Ф. – Я в войну две ступы березовых расколотил. Солому да мох толлок. Ступа высокая, а я маленький, дак что сделаю? Поставлю ступу ко крыльцу, да с крыльца и наяриваю. Раз дедко Иван, сосед, подходит: «Чего ты, Ванька, каждый день на крыльце часами пляшешь? Ведь нехорошо, говорит, это, война у людей, а ты веселишься». А потом заглянул в ступу и заплакал: «Ох, Ваня, Ваня, отрыгнется тебе эта пляска». Вот она и отрыгается.

## Хлебная корка

Матрена Васильевна вконец измаялась с сыном. Жизни не рада стала. Пьет, по неделям нигде не работает (корми, мать, на свою колхозную пенсию сорокалетнего мужика!), да еще постоянно пьяные скандалы дома, так что обе дочери уже два года не ездят к матери. Наотрез сказали: либо мы, либо он. Выбирай!

И то же самое ей говорили соседки. Что ты, Матреха! До каких пор будешь мучиться? Гони ты его, дьявола, раз в ем ничего человеческого нету.

И Матрена Васильевна соглашалась и с дочерьми, и с соседками. И иной раз, доведенная до полного отчаяния, она уж готова была бежать в сельсовет (председатель давно сказал: забередем, дай только сигнал!), потом вдруг вспомнит войну – и пропала решимость: в войну ее да девок, можно сказать, Пашка от голодной смерти спас.

У Пашки долго, до пяти лет, не поворачивался язык на слово (и теперь немтуном ругают), и вот за это-то, видно, его и жалела Анна, сельповская пекариха: два года подкармливала ребенка. Все какой-нибудь хлебный мякиш или корку сунет: они-то забыли, как и хлеб настоящий пахнет.

И вот что бы сделал всякий ребенок на месте Пашки с этим мякишем, с этой коркой? В рот, в брюхо скорей – там собаки от голода воют.

А Пашка ни крошки не съест один. До самого вечера терпит, до тех пор, пока мать с работы не вернется. Да мало того: этот мякиш, эту корку разделит на четыре части.

– Что ты, Пашка, сам-то ешь да девок угости. А я-то не маленькая.

Не будет есть. До тех пор не будет, пока мать не съест свое. Плачет да ручонкой тычет (слова-то выговорить не может): ешь, ешь.

И вот через эту-то Пашкину доброту, может, они все и спаслись в войну. Так как же ей гнать его из дома?

## Бабий разговор

– Ох, робили, робили! «Надоть! Война... Победу куем, бабы». Это все Хрипунова Александра Фалилеевна. «Хошь умрите, а сделайте...» «Бабы, я-то могу вас отпустить с поля, а война не отпустит...»

– Мастерица была речи говорить. Где она сейчас?

– Хрипунова-то? В город укатила. Вскорости после замиренья.

– Все укатили, одни мы остались. Одну войну отмахали, вторую стали ломить – послевоенную.

– Давай дак не плети. Какая война после войны?

– А голод-то? А налоги-то? А займы-то? Забыла? А работа?

– Да, да, было, было пороблено. Сколько лет задарма спину гнули. Теперь какие пензии огребают, а мы? Двадцать рубликов...

– А я, женки, то говорю: Бога забыли.

– Не плети! Не забыли. Пущай вместо молитв наша работа будет. Как думаешь, примет Бог-то заместо молитв нашу работу?

## Офимьин хлебец

– Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил – сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор с амвона пел: и возблагодариша господу нашего, единым хлебом накормиша нас... А про меня чего не поют? Я не раз, не два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом.

Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю: ох какой хорошенькой мошок! Чистенькой, беленькой. А дай-ко я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну мука! Крупчатка! В квашню засыпала, развела, назавтра замесила (мучки живой, ячменной горсть была), по сковородкам разлила – эх, красота!

Ладно. В обед, на пожне, достаю, ем – села на самое видное место. Женки глаза выпучили – глазами мои хлебы едят. «Офима, что это?» – «А это, говорю, мука пшенична моей выработки». Дала попробовать – эх, хорошо! «Где взяла? Где достала?» – «На болоте». Назавтре все моховиков напекли – ну не те. Скус не тот. Опять: сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте – всю войну не знали горя. Уродило не уродило – мы сыты.

Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали? Тепере-ка клянут. У всех желудки больны. От Офимьиного хлебца, говорят. От моха.

## Фотография

Ничего подобного доселе не видал. Небольшой зеленый садик возле сельского Дома культуры, и в том садике не один, не два, а целых пять гранитных обелисков, воздвигнутых в честь земляков, удостоенных на войне звания Героя Советского Союза.

Иду, притихший, от одного обелиска к другому, всматриваюсь в фотографии. Все лица как лица: простые, русские, от земли. Молодые, безусые, на возрасте... И вдруг – подросток, вдруг мальчик. Хмурый, широкоглазый, крепколобий, коротко стриженная голова, ситцевая, в прямую полоску, домашнего пошива рубашка с прямым, наглухо застегнутым воротом.

Начинаю невольно припоминать имена детей – Героев Советского Союза. Леня Голиков, Саша Чекалин... А как же я не знал их собрата – сибиряка Митю Шкурата?

– Нет, – говорит директор Дома культуры. – Шкурат в девятнадцать лет подвиг совершил. Фотокарточки другой не оказалось. За всю свою жизнь парень один раз сфотографировался.

В шестнадцать лет, когда паспорт получал.

Я долго вглядывался в фотографию Шкурата. Вглядывался в нашу историю.

Бедно, скудно жили, так скудно, что простая фотокарточка была порой немислимой роскошью...

## **В день Победы**

– У нас Ваня Пахомов самый веселый в палате был, хотя обеих ног не было. Всех утешал, всех на жизнь наставлял. А утром, как только объявили победу по радио, выбросился из окна.

Почему выбросился-то? Жена была злая? Не думаю. Пока война была, держался, а из войны в мир переступить не мог. Не на чем. Ног-то у него не было.

## Медное колечко

Ничего не осталось от Вани, любимого младшего брата Анны Афанасьевны.

Карточек в войну не делали (а Ваню взяли на войну в сорок третьем семнадцати лет), единственное письмецо-треугольничек, которое пришло от Вани с фронта, выкурил по недосмотру непутевый сосед Петруха, одежонку, какую носил Ваня, тоже выносили еще в войну.

Правда, когда-то для утешения больной матери Анна Афанасьевна заказала заезжему художнику Ванин портрет (тот нарисовал его по ее рассказам, и красиво нарисовал), но у самой-то у нее не лежала душа к этой картине.

И вот вдруг Анна Афанасьевна узнает: у соседки, такого же старого гриба, как она сама, сохранилось от Вани медное колечко, которое он подарил ей перед самым уходом в армию. Тогда, в войну, модно было делать колечки из медных денег.

Анна Афанасьевна взмолилась:

– Отдай мне, Марья, колечко. Бога ради отдай. Все, чего у меня в дому есть, не пожалею, а у меня хоть одна живая памятка о Ване будет. – Она сразу, с первого взгляда всем сердцем прикипела к колечку.

– Нет, не отдам, – сказала Марья. – Ни за какие деньги не отдам. Тебе нужна памятка о Ване, да и мне нужна. Что ты, я ведь тоже любила Ваню. Он ведь, когда дарил это колечко, что сказал мне? «Жди». Вот я и жду.

## Памятка

– А теперь давай за дядю Толю.

– За дядю Толю? Не пьют за мертвых-то.

– Ерунда! Дядя Толя для меня и мертвый живет всех живых. Знаешь, как он погиб? В сорок втором году дядя Толя попал к немцам в плен, но его как местного жителя (мы родом с Крыма) отпустили, и он стал работать на электростанции техником. Там, где и до войны работал. И вот нашлись суки – выдали дядю Толю гестапо... Связь с партизанами, секретарь парткома... Дядя Толя действительно был связан с партизанами, но секретарем парткома никогда не был. Выпивоха, скандалист, первый хулиган в поселке – да его на пушечный выстрел к партии не подпустили бы, даже если бы и хотел.

Вот перед смертью, когда уж на расстрел повели, дядя Толя и послал прощальный привет бабушке, своей матери. Сперва хотел было записку, да бумаги не привелось, ну он и выдрал из головы клочок волос с кожей. Понимаешь? Выдрал и со знакомым из охраны передал.

Бабушка до девяноста пяти прожила. А когда умирала, передала эту памятку самому младшему в нашем роду.



## **Зарок блокадницы**

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, о болезнях, которые косят людей, – что за жизнь? Что за век?

Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбнулась.

– После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил блокаду да войну.

## Из войны

– Я не люблю про войну вспоминать. В школу зовут на вечер – нет, говорю, я думать про войну не могу, а не то что рассказывать.

В сорок втором меня призвали, восемнадцать полных не было, и на Волховский фронт, в минерный батальон из девушек. По ночам от мин расчищали нейтральную полосу, готовили для наступающих танков и пехоты. Мины свои, мины немецкие – поди, угадай, как они установлены. Ну и рвались. Много наших девушек подорвалось, многие калеками стали. Под Москвой живет моя подруга, двадцать третьего года рождения. Зоя. Без обеих ног.

Раз прислали к нам парней-казахов. Ничего не умеют. Один – ночью было – кричит с полосы:

– Где тут мины? Ничего не видно.

– Зоя, говорю, иди. Помоги ему. Зоя только ступила – бах.

На моей, на моей совести эта девушка. Я дала двести грамм крови, а ног не дашь. Теперь вот все пишет: приезжай да приезжай. А как я поеду? Как ей в глаза гляну?

## Ужасы блокады

Анна с ужасом вспоминает блокаду: ее почти год не выпускали на улицу. Почему? Потому, что она была полненькая, розовенькая девочка (мать работала на фабрике пищевых концентратов) и дома боялись, что ее съедят.

За годы блокады семья Анны завела три сейфа. А колец, серег, браслетов – этого не сосчитать.

*6 декабря 1974*

## Свой парень

Лида, бухгалтер, попала в беду: пять месяцев без работы! Выгнали за то, что отказалась подписать фальшивые документы на списание уцененных товаров.

Дело разбирали комитет народного контроля, партбюро – все признали: честный человек Лида. Немедленно восстановить на работе.

Но Москва уперлась: нет и нет. Потому что восстановить на работе Лиду – значит признать виновной Т., а заодно с нею и кое-кого из московских тузов. Одна шайка-лейка. Да и первого секретаря РК пришлось бы потревожить: она горой встала за Т. (...)

Мне начали названивать разные люди:

– Федор Александрович, да что же это у нас делается? Человек пропадает за правду! Где мы живем? До ручки довели бабу. Затравили. С голоду подыхает, белье продает. И если бы, говорит, не ребенок малый, давно бы петлю на шею накинута.

Не хотелось мне влезать в эту грязь – время, нервы, а с другой стороны, если я не помогу, если другой не поможет, то кто же поможет?

Пошел в обком к А. Нравился мне этот человек. Простой, демократичный. Не глуп. Умеет пошутить, выпить, наконец, не дурак. А его прошлое? Помню, козырнул как-то в разговоре с ним своим ранением: дескать, воевал. Немецкими пулями на теле записан патриотизм.

– А у меня, Федор Александрович, тоже сорок девять дырок в теле, – очень скромно, как бы между прочим заметил А.

Я так и присел. А потом кое-какие подробности из его фронтовой жизни и до меня дошли. Рядовой матрос. Бесстрашно, с одной финкой в зубах на врага ползал. Двумя орденами Славы, тремя медалями «За боевые заслуги» награжден, а этими наградами, как известно, и в войну не кидались. Свой, одним словом, парень, нашенький, как сказал о нем один приятель.

Встретил меня А. радушно, просто, вышел из-за стола (так теперь заведено у крупных партийных работников, так меня и Демичев встречал), от души пожал руку.

– Ну как живем-можем, Федор Александрович? Как здоровье? Как творческие успехи?

– Благодарю, вашими молитвами.

– Ну, ежели нашими молитвами – отлично. Мы тут частенько молимся за здоровье творческой интеллигенции. На этот счет у обкома взгляды широкие – признаем Господа Бога.

В таком вот непринужденном тоне – с шутками, с прибаутками – мы поговорили о моем круизе вокруг Европы, дали надлежащую – партийную – оценку поступку Рябова, оставшегося в Англии, и только после этого я начал излагать суть дела, по поводу которого я пришел.

– Так, так, – время от времени кивал мне А. – Дальше. – И лицо его при этом все более и более каменело.

Я решил зайти с другой стороны – может, там у него незащищенное место? Стыд ведь, срам, говорю. Вся организация взбудоражена. Весь город языком чешет. Обком треплют...

– Разберемся, – бесстрастно роняет А., и кумачовое, черноброевое лицо его еще больше мрачнеет.

– Да чего разбираться-то! – уже совсем выхожу из себя. – Разобрались. Народный контроль разбирается, партбюро. Все сказали: покарать жуликов!

– Разобраться всегда полезно, товарищ Абрамов.

Да, уже не Федор Александрович, а товарищ Абрамов. И с угрозой, с начальственным рыком в голосе.

И я смотрю на этого раскормленного, краснорожего дядю, смотрю на его мрачно сдвинутые брови, на стиснутый рот, и мне понятно, какие заботы и мысли обуревают его секретарскую голову. Прихлопнуть надо. И нетрудно прихлопнуть. Да стукнешь в Т., а попадешь в Д., в М. Вот ведь как жизнь устроена. А что значит тронуть их? Рубить сук, на котором ты сидишь.

Потому что они держат в своих руках две могущественные организации. От них зависит твой авторитет. А их связи с верхами? Ты, к примеру, секретарь Ленинградского обкома, бывал хоть раз на приеме у Генерального? А М. вхож к нему запросто. Публично, перед всесоюзной телекамерой, был обласкан и расцелован Генеральным.

Да, что делается у А. в голове, мне понятно. Непонятно другое – откуда у него дремучий чертополох в сердце? Человек молодым парнишкой не щадил себя, жизнь в любую минуту готов был отдать за Родину, а тут надо вступить за оклеветанного, затравленного человека – струсил? И только ли дело в нежелании рисковать своей карьерой? А может, все проще? Может, дело все в том, что умереть за Родину – это ему внушали, вколачивали с детства, а человеком быть не учили? И не потому ли у нас сплошь и рядом: люди спокойно и мужественно умирают на войне и оказываются совершенно несостоятельными в повседневной, будничной жизни?

*26–27 апреля 1975*

## Старый финн

Финны не расстреливали русских военнопленных. Но одного расстреляли.

Расстрелял начальник лагеря. Старик, который, кстати сказать, был, быть может, самым гуманным из всех начальников лагерей и самым заботливым.

Вот с этой заботливости-то да гуманности все и началось. Старый финн решил однажды ввести в лагере богослужение.

Пленные – враги нации. Но не скоты же какие-нибудь. Люди. Как лишить пищи духовной? «Должен быть какой-то и духовный паек у пленных», – решил финн.

Поручил переводчику-карелу узнать, есть ли среди пленных в лагере священник.

Есть. Им назвался один блатник, ибо сообразил: священник – значит, благо, кормежка. Ну а насчет самой службы... Вывернется. Что финны понимают? Что-нибудь придумает.

Начальник лагеря вызвал блатника к себе.

– Это правда, что вы священник?

– Правда.

– А показать, как вы служите, можете?

– Могу. – И тут блатник сложил на груди руки (это на иконах видал), закатил глаза и рванул: «Гоп со смыком – это я...»

Финну очень понравилось православное богослужение. Понравился оптимизм – мелодия...

– Хорошо, – сказал старик, – с завтрашнего дня начнем богослужение.

Служба получилась прекрасной. Пленные (а большинство были блатники) охотно пели, да и остальные подпевали: все-таки развлечение. И так продолжалось семь дней.

А на восьмой переводчик-карел повинулся перед старым финном, что его обманывают. Вместо богослужения – кощунство, самое отвратительное надругательство над Богом.

Старый финн был вне себя от гнева. Все мог простить, но только не это.

Он приказал расстрелять блатника. Без всякого суда и следствия.

*16 ноября 1976*

## День Победы в Пекашино

### Глава из романа «Две зимы и три лета»

#### 1

Сыновей своих Илья уже не застал дома. Ребята малые – одному шесть, другому пять, – разве хватит у них терпения дожидаться отца, когда Егорша с утра скликает народ гармошкой? А вот Валентина – ума побольше – без отца не ушла. И задание его выполнила: хорошо, до блеска начистила боевые отцовские регалии.

Марья, как увидела его во всем этом великолепии, ахнула:

– Ну какой ты, отец, у нас красивой! Я не знаю, как мне с тобой и идти.

Было тепло, солнечно на улице. Пахло распутившейся черемухой (много ее в Пекашине, весь косогор в белом цвету), и красиво, дружно зеленела молодая травка под горой на лугу.

До правления они шли вместе, рука об руку: он посередке, а Марья и дочка рядом. А тут, у правления, пришлось расстаться, ибо Марья вдруг решила, что к народу он должен подойти один, без них.

– Вишь, ведь машут, – заметила она. – Это не нам с Валентиной, солдату машут.

И верно, в конце улицы, напротив зеленой ставровской лиственницы, лебедями, чайками бились белые бабы платки.

Илье не приходилось бывать на парадах, он не хаживал перед начальством в строю (в августе сорок первого их прямо с поезда бросили в бой), только раз на свой страх и риск он продубасил районные мостки в солдатской шинели. Три недели назад, когда ехал домой с войны. Продубасил потому, что нельзя было иначе. Из окошек на тебя смотрят, из учреждений, канцелярий выбегают («Привет победителю!»); ребятня гонится по сторонам, а ты что же – тятляп? Открытым ртом мух ловить?

Ну, он уж старался. Прямил, изо всех сил прямил свою уже немолодую, ломаную-переломаную спину, ногу в стоптанном кирзовом сапоге ставил твердо и нет-нет да и поправлял украдкой усы, которые от нечего делать отпустил в госпитале.

И вот, вспомнив про свой этот первый и единственный парад в жизни, Илья не то чтобы начал пушить пыльную жаркую улицу или деревенеть лицом, а все-таки заглотнул в себя воздух, подтянул к хребтине пуп. И поначалу все шло как надо. Под гармошку, под походный марш, которым подбадривал его улыбающийся и подмигивающий Егорша («Давай-давай, солдат, веселее!»), под одобрительные и горделивые взгляды родной дочери, которыми та подпирала его сбоку. И серебро, и бронза на его груди сверкали – вот его отчет землякам за войну. Да только вдруг он увидел в сторонке от поджидавшей его толпы сухонькую, робкую, из-под темной ладошки смотревшую на него Федосеевну, и все – черная ночь накрыла праздник.

В июле сорок первого года, когда он вместе с пекашинцами отправлялся на войну, вот эта самая Федосеевна на этом же самом месте упрашивала его слезно:

«Илья Максимович, ты два года наставлял да берег моего Сашу в лесу, дак уж не оставь его, побереги его и там». И об этом же она просила-умоляла и других мужиков, и Саня, ее единственный сын, ужасно конфузился и стыдился своей простоватой матери, и все отсылал, отсылал ее домой, и в конце концов добился своего: пошла Федосеевна домой, обливаясь слезами.

Не уберег Илья Саню. В том же сорок первом году под Вязьмой Саню в клочья разорвало снарядом, так что нечего было и земле предать. А где остальные? Куда девался косяк молодых,

здоровых мужиков и парней, которых вот отсюда, от этого ставровского дома, провожали тогда на войну?

Пока что из этого косяка, или из этой пекашинской роты, как назвал их тогда райвоенком, он один вернулся к исходному рубежу – без изъянов, стопроцентным здоровяком, если не считать небольшой царапины на груди, – да еще вон там, опершись на изгородь, стоит одноногий, уполовиненный Петр Житов.

## 2

За три недели Илья уже успел присмотреться к бабам, но, может быть, только сегодня, в этот теплый и солнечный день, когда все они были принаряжены да принамыты, может быть, только сегодня он разглядел их по-настоящему.

Постарели, повысохли, бедные, беззубые рты опали, и такой виноватый, заискивающий взгляд, словно они извинялись перед ним. Извинялись за свой вид, за то, что сделала с ними война.

Две девушки, кажется, Рая Клевакина и Лизка Пряслина, выбежали к нему с большим букетом пахучей, только что наломанной черемухи. Раздались сухие, деревянные хлопки. Егорша оборвал игру. И он понял: от него ждут речь. Так, наверно, был задуман праздник.

– Папа, папа, скажи! – требовательно зашептала сбоку Валентина, крепко, изо всех сил сжимая отцовскую руку.

И Петр Житов, свирепо буравя его своим взглядом от огорода, тоже давал понять, что, дескать, не боги горшки обжигают...

Выручила Илью Варвара Иняхина. Варвара молодым, звонким голосом, закричала с крыльца:

– К столу, к столу, женки!

И тут Егорша опять заиграл походный марш, но только уже не для него, а для баб, которые, моментально перестроившись, всем скопом, всей своей пестрой и душной ордой кинулись в заулоч на голос Варвары.

Столы были поставлены на двух половинах вдоль стен, и все равно всем места не хватило.

– Эй, хозяин! Где ты? Открывай еще одно заседание в коридоре.

– Не кричите, – сказал Егорша. – Нету хозяина. С утра укатил в лес.

И тут вдруг выяснилось, что и Трофима Лобанова с невестками нет, и Софрон Мудрый со своей женой не явился. А где Марфа Репишная? Где Анна Пряслина? Не пришли. Не смогли перешагнуть через дорогих покойников. Так с самого начала и пошел этот праздник вперемежку с горючей слезой.

Первую рюмку, конечно, выпили за победу, а дальше все потонуло в шумных выкриках и причитаниях.

– Ох, Марьюшка, Марьюшка! Ты-то дождалась своего, а мойто не вернется... И на могилку не сходишь...

– Ондреюшка все мне писал: женка, береги себя, женка, береги себя... А сам себя не уберег...

– Ты хоть пожила со своим Ондреюшком, а я-то, бабы, я-то горюша горькая...

– Женки! Женки! – распорядилась Варвара. – Ешьте мясо. Досыта ешьте!

– Да как его исть-то? Где кусачки-то взять?

– А у меня-то... – Офимья несгибающимся пальцем закрючила рот, показала своей соседке желтые беззубые десны.

– Ничего! Кузнец теперь свой – новые скует...

Илья вслушивался в эти разнобойные голоса и выкрики, смотрел на расходившихся женок, и перед ним, как наяву, развертывалась бабья война в Пекашине. Одна вспоминала, как



она первая открыла хлебные плантации на болоте («Все за мной побежали»), другая дивилась тому, сколько она перепахала земли за эти годы («За день не обойти»), а многолетняя подслеповатая Паладья, разоткровенничавшись, начала рассказывать, как она в прошлом году унесла сноп жита с колхозного поля.

На нее зашикали, замахали руками:

– Молчи, глупая! При председателе-то. Может, еще придется.

– Нет уж, не придется! – яростно взвизгнула Паладья. – Не будет, не будет больше такого!

– Не зарекайся. Хвалилась одна ворона – что вышло?

– Что, что, женки? Чем вам не угодила председательница? – спросила Анфиса.

– Угодила! Угодила, Анфисьюшка. Я за то тебя и люблю, что сердцем понимала беду нашу.

– Анфиса! Анфиса Петровна! Родимущка ты наша! – закричали отовсюду бабы.

Анфису обнимали, целовали, кропили рассолом бабьих слез.

И она сама плакала:

– Бабы, бабы вы мои золотые...

– Да пожалейте вы председателя-то! – взъерился вконец измученный Михаил Пряслин, через голову которого женки все еще лезли обниматься с Анфисой. – Замучите! Председатель-то один.

– Миша! Миша! Золотце ты мое! – вдруг всплеснула руками белобровая потная Устинья и крепко обняла его за шею. – Тебя-то, желанный, век не забуду. Помнишь, как мне козу наставлял?

– И мне!

– И мне!

– А меня-то как прошлой зимой в лесу выручил! Помнишь?

– Михаил! – поднялась Анфиса.

– Тише! Тише! Председатель хочет сказать.

Огнистое солнце било в глаза Анфисе. В открытые окошки не прохлада – зной вливался с улицы. Илья взял с подоконника букет сомлевшей черемухи, помахал перед разогретым лицом Анфисы. Белый цвет посыпался на стол.

– Вы вот тут, женки, сказали: ту Михаил выручил, другую выручил, третью... А мне что сказать? Меня Михаил кажинный день выручал. С сорок второго года выручал. Ну-ко, вспомните: кто у нас за первого косильщика в колхозе? Кто больше всех пахал, сеял? А кого послать в лютый мороз да в непогодь по сено, по дрова?... – Анфиса всплакнула, ладонью провела по лицу. – Я, бывало, весна подходит – чему, думаете, больше всего радуюсь? А тому радуюсь, что скоро Михаил из лесу придет. Мужик в колхозе появится...

– Верно, верно, Петровна, – завздыхали бабы. А на другой половине в голос заревела Лизка со своими ребятами.

– Не плачьте, не плачьте, – стали уговаривать их. – Ведь не ругают его, хвалят.

Анфиса смахнула с глаз слезу.

– Да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял. За первого! А чем мне отблагодарить его? Могу я хоть лишний килограмм жита дать ему?

Анфиса налила из своей половинки в стакан, протянула Михаилу:

– На-ка, выпей от меня. – И низко, почти касаясь лбом стола, поклонилась парню.

– И от меня! И от меня!

В стаканах и чашках забулькал разведенный сучок (все сохранили до праздника по сто граммов спирта, заработанных на сплаве). На Михаила лавиной обрушилась бабья любовь.

Кто-то, опять захлестнутый своим горем, заголосил:

– У Анны хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто...

– Хватит вам слезы-то точить. Песню! – заорал Петр Житов и увесисто трахнул кулаком по столу.

Жена его высоким голосом затянула «Аленький цветочек», к ней присоединилось несколько дребезжащих, высохших за войну голосов, но дружного пения не получилось.

– Егорша! – взвилась Варвара. – Играй! Плясать хочу!

– Варка, Варка, бессовестная! Ты хоть бы Терентия-то вспомнила...

Варвара, молодая, нарядная, в голубом шелковом платье, туго, по-девичьи, затянутая черным лакированным ремешком со светлой пряжкой, выскочила на середку избы, топнула ногой.

– Помню! Тереша меня за веселье любил.

Говорят, что я бедова,  
Почему бедовая?  
У меня четыре горя —  
Завсегда веселая.

– Ну, разошлась офицера вдова.

– Да, не хухры-мухры! – Варвара вскинула руки на бедра, с вызовом обвела всех бесшабашным взглядом. – Офицера вдова!

Егорша дугой выгнул розовые меха гармошки.

– Варка! Варка! Про любовь! – вдруг ожили женки.

На войну уехал дряля,  
Я осталась у моста.  
Пятый год пошел у вдовушки  
Великого поста.

– Охо-хо-хо! Врешь, Варка! Врешь!

– Не вру, бабы! Песня не даст соврать:

Кто не знает – заявляю:  
Я не избалована —  
Всю германскую войну  
Ни разу не целована.

Варвара, лихо, с дробью отплясывая, схватила за рукав Илью, потащила из-за стола. Марья обхватила мужа за шею:

– Не приставай! Липни к другому.

– Фу, и спрашивать тебя не стану. Наши мужья головы сложили, а ты одна владеть будешь? Нет, не выйдет! Поровну делить будем. Приказа потребуем.

– Горько-о-о! Горько-о-о!..

– Да вы с ума посходили! Нашли забаву при детях... – У Марьи полыхающей чернью зашлись глаза. Она отшатнулась от напиравших со всех сторон баб, уперлась затылком в простенок.

– Горько-о-о! Горько-о-о!

Илья, улыбаясь, нащупал под столом жесткую, заскорузлую руку жены, глянул на открытые двери, в которых еще недавно горели черные горделивые глаза дочери, и начал подниматься:

нельзя не уважить народ.

– Нет, нет! – завопили бабы. – Машка пущай! Пущай она!

– Целуйся, дура упрямая! А не то я поцелую.

– Давай, давай! Мы хоть посмотрим, как это делается!.. Ничто не помогло – ни упрасивания, ни ругань. Марья скорее дала бы изрубить себя на куски, чем уступила бы бабам в таком деле. Суровая, староверской выделки была у Ильи жenuшка. Даже в сорок первом году, когда он уходил на войну, не поцеловала его при народе.

И бабы, так и не добившись своего, наконец оставили их в покое, вслед за гармошкой повалили на улицу.

### 3

Михаил, окруженный братьями и сестрами, стоял, качаясь, за углом боковой избы и тяжело водил растрепанной головой. Его рвало.

– Натрескался, бесстыдник! Рубаху-то! Рубаху-то всю выгваздал. Пойдем домой.

– Се-стра-а!

– Чего сестра?

– Се-стра-а! – Михаил топнул сапогом, рванулся к заулку, где шумно, под гармошку, веселились бабы, упал.

Татьянка с испуга заплакала, судорожно обхватила сестру ручонками.

– Бросьте вы его, ребята, – сказала Лизка двойнятам, которые с двух сторон кинулись на помощь брату. – Он девку-то у меня, лешак, всю перепугал. – Она обняла Татьянку, но тут же на нее прикрикнула: – Чего ревешь? Не убили!

Из-за угла избы выбежала с ведром воды Рая Клевакина. Жмурясь от солнца, едва удерживаясь от смеха при виде стоявшего на коленях Михаила, вздохмаченного, с бессмысленно вытаращенными глазами, она зачерпнула ковшом воды и плеснула ему прямо в лицо.

Михаил взревел, вскочил на ноги.

Раечка с визгом и смехом метнулась в сторону. Цинковое ведро опрокинулось. Михаил подал его ногой, пошатываясь, побрел в заулочек.

Заулочек у Ставровых просторный, скотина в него не заходит – на крепкие запоры заперт с улицы, – и Степан Андреянович за лето два укуса снимал травы. Хорошая копна сена выходила. А в нынешнем году, похоже, травы не будет. Начисто, до черноты, выбили лужок. Желтые головки одуванчиков, раздавленные сапогами и башмаками, догорали по всему заулочку. И Лизка, похозяйски прикинув последствия нынешней гульбы, не смогла удержаться от слез.

– Сестра! Кто тебя обидел? Кто?

– Миша, Миша! – закричала Варвара от крыльца. Шальное, пьяное веселье кружило у крыльца. Скакали бабы, размахивая пестрыми сарафанами, визжала гармошка, Петр Житов, красивый от натуги, притопывал здоровой ногой.

Варвара подбежала к Михаилу, потащила его в круг.

– Мишка, Мишка! – заорал Петр Житов. – Дай ей жизни, сатане!

Женки мигом рассыпались по сторонам. Варвара привстала на носки и – эх! – пошла работать. Ноги пляшут, руки пляшут, с Егорши ручьями пот, а она:

– Быстреей, быстреей, Егорша! Заморозишь!

– Мишка, Мишка, не подкачай! – кричали бабы. Михаил топал ногами на одном месте, тяжело, старательно, будто месил глину, тряс мокрой, блестящей на солнце головой, потом вдруг пошатнулся и схватился за изгородь.

– Все! Готов мальчик, – с досадой подвел итог Петр Житов.

А Варвара захохотала:

– Ну, кому еще не надоело жить? Эх, вы! А еще зубы скалите...

Никому не осмеять  
Меня, вертоголовую.  
Ребята начали любить  
Двенадцатигодовую.

– Илюха! – с жаром воззвал Петр Житов к Нетесову. – Поддержи авторитет армии. Неужели такое допустим, чтобы баба верх взяла?

– У меня по этой части претензий нет, – сказал Илья.

– А у меня есть! – сказал Егорша.

Он встал с табуретки, протянул гармонь Рае.

– Раечка, поиграй за меня. Затрещала изгородь у хлева.

Егорша живо подскочил к Михаилу, потянул его за рукав:

– Ну-ко, дядя, нечего с огородой воевать. Дедкино это строенье.

В толпе рассмеялись.

– Что? Надо мной смеяться? Надо мной? – Михаил яростно заскрипел зубами, отбросил в сторону Егоршу.

– Миша! Миша! – закричали в один голос женки. – Что ты? Одичал?

Федор Капитонович, спускаясь с крыльца, брезгливо бросил:

– Ну, теперь будет праздник.

– А, товарищ Клевакин! Наш северный Головатый! – Михаил изогнулся в поклоне.

Две-три бабы прыснули со смеху, но всех громче захохотал Петр Житов, потому что это он так окрестил Федора Капитоновича.

В сорок третьем году Федор Капитонович двадцать тысяч рублей внес в фонд обороны. О его патриотическом подвиге шумела вся область. Газеты его называли северным Головатым. Его возили в город, вызывали на каждое совещание в районе, и только пекашинцы посмеивались, когда на собраниях ставили им в пример Федора Капитоновича. Верно, внес Федор Капитонович деньги в фонд обороны, и деньги немалые. Да откуда они у него взялись? Почему у других их нету?

– Иди-иди, – сказал, нахмурившись, Федор Капитонович Михаилу. – Мал еще, сопляк, с людьми-то разговаривать.

– Я мал? Я сопляк? Нет, ты стой! Стой. Как деньги за самосад драть, ты тогда не говоришь, что я сопляк!..

Михаила обступили бабы.

– Миша, Миша, – стала уговаривать его Варвара. – Разве так можно?

Она оттащила его в сторону.

– Варка, а ты мягкая... – сказал Михаил, обнимая ее. Варвара рассмеялась:

– Молчи, не сказывай никому. Про это не говорят.

– А почему?

К ним подошла Лизка:

– Пойдем домой. Докуда еще будешь смешить людей?

– Домой? – Михаил топнул ногой. – Нет. Гулять будем. Егорша, где Егорша?

Егорши в заулке не было. Бабы расходились по домам.

Ворот новой рубашки у Михаила был распахнут сверху донизу. Одна пуговица висела на нитке. Лизка, вздыхая и качая головой, привстала на носки, оторвала эту пуговицу, и тут ей показалось, что еще одной пуговицы нет на воротах.

– Стой! – закричала она на брата, сразу вся расстроившись.

Но Михаил, подхваченный Варварой, уже двинулся вслед за бабами. Он ревуче запел:

Шел мальчишка бережком,

Давно милой не видал...

Лизка оглянулась по сторонам, увидела Петьку и Гришку.

– Ребята, хорошенько все обыщите. За избой посмотрите.

Он, лешак, кажись, пуговицу потерял.

Затем она сбегала в верхние избы, закрыла окошки. Близнецы, присев на корточки, старательно оглядывали то место, где недавно топтался их брат. Сдвоенные голоса Варвары и Михаила доносились из-за дома с улицы.

– Ребята, – сказала Лизка. – Никуда не уходите. А придет Степан Андреянович, скажите, что я скоро прибегу. Уберу тут все. – И она побежала догонять брата.

#### 4

Вставало утро. Познабливало. За Пинегой, над еловыми хребтами, разливалась заря – красные сполохи играли в рамах.

Варвара, слегка покачиваясь, шла пустынной улицей, простоволосая – платок съехал на плечи, – и злыми, тоскливыми глазами поглядывала на окна.

Господи, сколько ждали этого праздника, сколько разговоров было о нем в войну! Вот погодите, придет уже наш день – леса запоют от радости, реки потекут вспять... А пришел праздник – деревню едва не утопили в слезах...

Поравнявшись с домом Марфы Репишной, Варвара привстала на носки, яростно забарабанила в окошко:

– Марфа, Марфушка! Принимай гостей!

В избе зашаркали босые ноги. Темные гневные глаза глянули сверху на нее:

– Бесстыдница! Орешь середь ночи. Бога-то не боишься.

– А, иди ты со своим богом! Я плясать хочу! – Варвара топнула ногой, взбила пыль на дороге.

Немо, безлюдно вокруг. Сухим, режущим блеском полыхают пустые окошки. И тоской, вдовьей тоской несет от них... Ну и пускай! Пускай несет. А она назло всем петь будет – хватит, нарвелась за войну!

И Варвара, круто тряхнув головой, запела:

Во пиру была да во беседашке,  
Ох, я не мед пила да я не патоку,  
Я пила, млада, да красну водочку.  
Ох, красну водочку да все наливочку.  
Я пила, млада, да из полуведра...

Тявкнула гармошка в заулке у Василисы, а затем петухом оттуда выскочил Егорша. Волосы сваялись, лицо бледное, мятое, к рубашке пристала солома – не иначе как спал где-то...

– Ну, крепко подгуляла! Значит, из полуведра?

– Да, вот так. Еще чего скажешь?

– Ты хоть бы меня угостила.

Варвара скептическим взглядом окинула его с ног до головы.

– Кабы был немножко покрепче, может, и угостила бы.

– А ты попробуй! – вкрадчивым голосом заговорил Егорша.

– Ладно, проваливай. Без тебя тошно.

Варвара стиснула концы белого платка, пошагала домой.

– Ты куда? – обернулась она, заслышав сзади себя шаги.

– Вот народ! – искренне возмутился Егорша. – Праздник сегодня, а у них все как на похоронах.

– А и верно, Егорша! Праздник. Давай вздерни свою тальяночку.

И взбудоражили, растрясли-таки деревню. Бледные, заспанные лица завывлядывали из окошек. Но что-то невесело, тоскливо было Варваре, когда она подходила к своему дому. И даже восход солнца, нежным алым светом затрепетавший на белых занавесках в окнах, на ее усталом, осунувшемся лице, – даже восход солнца не обрадовал ее.

Она тяжело вздохнула и толкнула ногой калитку.

– Спасибо.

Егорша сунул ногу в притвор:

– погоди! За спасибо-то и по радио не играют...

– Чего?

– Холодно, говорю. Погреться пусти... – Егорша зябко поежился и остальное досказал глазом.

– Ах ты щенок поганый! Глаза твои бесстыжие!

– Ну, нашлась стыдливая...

Калитка резко хлопнула. Белая нижняя юбка заплескалась над ступеньками крыльца.

Лицо у Егорши вытянулось. Жалко, черт побери! Не с того, видно, конца заход сделал. Но не в его характере было долго унывать: сегодня не выгорело, в другой раз выгорит.

Он развернул гармонь, голову набок – и пошел плевать крепкими, забористыми припевами.

## Статьи. Выступления

### Выступление на филологическом факультете ЛГУ

1. Привычная и знакомая трибуна. А выступать сегодня нелегко. Потому что сегодня у нас не только великий праздник. Но сегодня и день национальных поминок.

2. Мысленно я с теми, кто в 41 году сидел здесь. Большой курс. Одних ребят на нем было не меньше 100, а может быть и больше. И кто сегодня в живых? Константин Старцев (в Москве), Николай Соколов (доцент), Николай Доброхотов, еще 2–3 человека встречал после войны. Ну, я в живых. А где остальные? Остались лежать под Ленинградом.

3. Каждому свойственно, вероятно, идеализировать свое поколение. Но мои сверстники не нуждаются в идеализации. Это в самом деле были удивительные, глубоко верующие, прямо-таки святые ребята. И разве не доказала это война?

4. Мое поколение было духовно подготовлено к войне с фашизмом. Мы были воспитаны и взращены на примерах рев. героики великого Октября и Гр. войны. Наши герои – Чапаев, Павел Корчагин. Нашей любимой песней была «Каховка» Светлова. Мы с жадностью следили за первыми битвами с фашизмом в Испании. А некоторые из моих сверстников, курсом постарше меня, Георгий Степанов, Захар Плавский, сами воевали в Испании.

Да, мы подготовлены были духовно к войне. И когда началась война, мы не ждали повесток из военкомата.

Первую неделю мы работали на Карельском перешейке. Рыли противотанковые рвы. А 2–3 июля мы уже колоннами шагали на фронт. Необученные, необстрелянные, в новых непригнанных гимнастерках, в страшных солдатских башмаках. Помню, была ужасная жара... Но все время над колонной звучала песня «Вставай, страна огромная».

5. Надо сказать, что о войне у нас были самые наивные представления. Мы, например, были убеждены, что война продлится недолго, и к осени мы вернемся на свой родной факультет.

И многие из нас, уходя на фронт, сдавали последние экзамены. Идти на фронт без хвостов – это был лозунг дня. Конечно, не все были такими наивными ослами, но я, например, принадлежал к числу их.

К 22 июня я сдал три экзамена из четырех. И вот когда я вернулся с Карельского перешейка, я первым делом записался в Народное Ополчение, а потом пришел в общежитие на Добролюбова и принялся за зубрежку. Идет война, над городом летают самолеты, в общежитии в каждой комнате песни, пирушки, а я сижу и зубрю «историю русского языка». Зубрил полдня, зубрю ночь, а назавтра пошел сдавать экзамен Марии Александровне Соколовой, преподавателя на факультете не оказалось. Что делать? Поехал на квартиру. А потом прямо с экзаменов, с чистым матрикулом поехал в казарму.

И уверяю вас, я не самый был наивный.

6. Война внесла серьезные поправки в наши представления о жизни.

Наш батальон назывался особым арт-пулеметным батальоном. Но артиллерии в нем не было. Пулемет на роту один. Автоматов нет. Винтовки... (Федор Абрамов потом рассказывал, что они ждали, когда убьют впереди ползущего товарища, чтобы взять его винтовку. – Л. К.) Так мы воевали.

7. Сегодня иногда приходится слышать: о войне надо писать правду, но правду такую, которая бы не разоружила нас духовно. Я думаю, есть одна правда. И настоящая правда никогда и никого не разоружает. А потом – разве правда о войне с оговорками – не оскорбление тех, кто погиб?

8. В коротком выступлении невозможно упомянуть всех товарищей. Но нескольких моих друзей мне хочется назвать:

Семен Рогинский.

Леонид Сокольский.

Иван Маркин.

Николай Лямкин.

Все они погибли в первых боях. Они не награждены орденами и медалями. Их имен нет в приказах. И только одна награда может быть для них сегодня – наша память о них.

Помните: в этом зале учились ребята, которые сегодня были бы украшением. Они отдали жизнь, чтобы могли работать и жить мы с вами. И этого никогда нельзя забывать.

*7 мая 1965*



## Ольга Берггольц

Этот небольшой круглый зал давно уже стал не только местом встреч живых писателей, свидетелем их земных радостей и тревог. Он стал и местом последнего прощания с нашими товарищами.

Но нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда – на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен и стягов, ибо Ольга Берггольц – великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда. И сегодня над ее гробом в последнем низком поклоне склонились все: и живые и мертвые, и герои и жертвы, все участники великой битвы за город на Неве.

Я знаю, не понаслышке знаю, что такое блокада. Я помню, не забыл, как в самую страшную пору – в декабре-январе – лежал в нетопленном госпитале с простреленными ногами, в одной из аудиторий исторического факультета университета, где всего еще каких-то полгода назад доводилось мне слушать лекции. Лежал в рукавицах, в солдатской шапке-ушанке, а сверху был завален еще двумя матрацами.

Так ведь то было в военном госпитале, где был все ж таки коекакой уход за больными, была – худо-бедно – трехразовая кормежка. А что сказать о тех, домашних госпиталях? А Ленинград – мы помним это – на две трети, на три четверти в то время был госпиталем. Великое множество замороженных склепов и пещер, в которых медленно умирали истощенные ленинградцы.

И, может быть, самым страшным для них, для этих умирающих, был еще не голод, не стужа, не кромешная тьма, а одиночество. Да, да, одиночество, самое обычное одиночество, когда некому сказать тебе последнего слова, когда не от кого услышать слова поддержки и утешения.

И вот в часы этого страшного одиночества над головой блокадника из замороженного, мохнатого от инея репродукторатарелки – такие тогда были – вдруг раздавался живой человеческий голос. Голос, полный неподдельной любви и сострадания к ленинградцам, голос, опаленный ненавистью к врагу, голос, взывающий к жизни, к борьбе.

То был голос Ольги Берггольц.

И тогда совершалось чудо: силою слова, силою только одного человеческого слова, правдой слова Ольги Берггольц, безнадежно больные, истощенные, умирающие воскресали к жизни.

Но человеку не только надо помочь жить. Человеку надо еще помочь умереть. Умереть достойно, по-человечески. И это, между прочим, хорошо понимала и понимает церковь, облегчая душевные страдания умирающего словами утешения и отпущения земных грехов.

Ольга Берггольц не утешала, не отпускала грехов. Да и какие грехи были у блокадных ленинградцев? А если и были у кого, то они дотла вымерзли в лютном холоде тех дней.

Ольга Берггольц давала умирающим другую веру – веру в торжество жизни, в торжество света и разума, веру в Победу, в победу человека над оборотнем, над двуногим зверем.

Ольга Берггольц как человек умерла. Отмучилась. Кончились ее земные страдания, а их на ее долю выпало немало. Все муки, все беды эпохи сполна прошли через ее жизнь, через ее сердце. Физические недуги годами терзали ее. Но не будем оскорблять ее память слезами сентиментальной жалости. Берггольц не любила этого. Она была мужественным человеком.

Ольга Берггольц прожила большую и завидную жизнь. Ей выпало великое и трудное счастье стать поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. И поэтому смерть ее необычна. Она перешагнула за порог жизни, чтобы обрести новую жизнь, обрести бессмертие, стать легендой. Она умерла, чтобы жить в веках. Жить столь же долго, сколько суждено жить нашему бессмертному городу на Неве.

*18 ноября 1975*

## Александр Твардовский

Слава Твардовского была безмерна. Названия его поэм и стихотворений стали нарицательными («Страна Муравия», «За далью даль», «Я убит подо Ржевом» и т. д.).

Ну, а о «Теркине» и говорить нечего. За всю историю русской литературы – можно смело утверждать – не было в народе столь популярного литературного героя, как Василий Теркин. Тут по популярности с ним мог соперничать лишь любимый герой русской сказки Иванушка-дурачок, с которым наш народ прошел через всю свою многострадальную историю, который был его духовной опорой и подмогой в самые трудные времена.

Теркин был духовной опорой и подмогой в самую страшную годину его испытаний – в Великую Отечественную войну...

*22 сентября 1978*

## **Мы и сегодня живы ими**

### ***Из выступления на вечере встречи выпускников филологического факультета Ленинградского университета***

Каждый из нас, идя на сегодняшнюю встречу, конечно же, оглядывался назад, вспоминал тот день, когда мы впервые встретились на первой лекции в актовом зале филологического факультета. Нас тогда было много. Мы тогда были молодым и шумным, многообещающим лесом. А сегодня? Сколько осталось нас сегодня?

Война железным ураганом прошла по нашему поколению. Многие и многие наши товарищи и сверстники, наши святые ребята и девушки остались лежать на подступах к Ленинграду. Они погибли, чтобы своей грудью, своими телами прикрыть город на Неве.

Здесь уже говорилось, как много незаурядных работников науки и культуры дал наш курс. Но ведь лучшие из нас – и мы это хорошо знаем – остались там, на полях сражений. Леонид Сокольский, Анатолий Новожилов, Семен Рогинский, Александр Матвеев, Иван Маркин, Николай Лямкин, Андрей Штейнер, Олег Долгополов...

У нас давно подсчитано, давно подытожено, какие материальные потери мы понесли на войне, сколько было сожжено и уничтожено сел и городов, сколько вывезено хлеба и скота в фашистскую Германию.

Ну а сколько мы потеряли в войну людей? Называют цифру в 20 миллионов человек, называют цифру в 20 с лишним миллионов. А точнее? А точнее мы не знаем. И, к великому стыду нашему, мы тоже не уверены, всех ли мы назвали сегодня поименно из тех, кто погиб с нашего курса.

Перед тем как собраться в этом зале, мы все побывали в комнате Славы, небольшой аудитории, где воочию встретились со своей юностью, со своими дорогами и вечно молодыми ребятами и девушками, глядящими на нас то с уцелевших фотографий, то с поминальных, траурных списков.

Но выполнили ли мы свой долг перед героями? Достоин ли увековечили их память?

Нынешним летом ездил я по Алтаю – в каждом райцентре, в каждом селе на века воздвигнуты мемориалы с обозначением всех имен погибших земляков. А в Барнауле, столице Алтайского края, – вот где чтят память павших! Тысячи, десятки тысяч имен барнаульцев, не вернувшихся с войны, отчеканены в металле – и еще оставлено место для тех, чья судьба пока неизвестна.

Я не сомневаюсь, и на нашем, филологическом, факультете в ближайшее время будет установлен достойный мемориал в честь погибших на фронтах Великой Отечественной филологов. Всех – студентов и преподавателей. На самом видном, на самом почетном месте.

Это надо, это необходимо прежде всего нам, живущим. И тем, кто будет жить после нас. И тут уместно вспомнить мудрые слова, которые венчают врата кладбища в польском городе Закопане: «Родина – это земля и могилы», «Народы, которые теряют память, теряют жизнь. Закопане помнит это».

Но есть еще более важный, более высокий долг перед погибшими – наши дела, наша жизнь.

Каждый наш шаг, каждый наш поступок, каждый наш помысел до конца дней своих, до последнего часа мы обязаны, должны измерять мерой их великого подвига, выверять их короткой, но такой удивительно красивой и чистой жизнью.

Наши сверстники и товарищи навсегда ушли от нас, но они всегда с нами, они и сегодня помогают нам жить, быть лучше и чище. Мы и сегодня живы ими.

1978

## **Быть достойным их памяти** *Ответы на вопросы газеты «Советская Россия»*

– *Самый памятный бой, который стал в вашем творчестве и литературным фактом?*

– Минувшая война была такой истребительной мощи, что для многих первый оказался и последним. Лично мне довелось участвовать в двух боях под Ленинградом в страшные дни сорок первого, и каждый из них кончился для меня ранением.

К сожалению, непосредственно о фронтовой жизни я ничего еще не написал, хотя и собираюсь. Как писателя меня целиком захватила военная страда в тылу, тот второй фронт, открытия которого столько времени мы ждали от союзников и который, по существу, открыла русская баба еще в 1941 году. Об этой бабьей войне в тылу я и старался сказать свое слово.

– *Где закончилась для вас война?*

– Война закончилась для меня в глубоком тылу, где я служил в воинской части по причине своей непригодности к строевой службе после второго тяжелого ранения. А моя мирная жизнь началась осенью 1945 года, когда я вернулся в Ленинградский университет для продолжения прерванной войной учебы.

– *Фронтовое братство. Какое место оно занимает сейчас в вашей жизни и вашем творчестве?*

– Почти все мои товарищи, студенты Ленинградского университета, с которыми я уходил на войну как доброволец народного ополчения, полегли в кровопролитных боях за Ленинград летом и осенью 1941 года. И фронтовое братство для меня – это прежде всего быть достойным их памяти, это стремление жить и работать по высшим законам совести и справедливости, с сознанием вечного и неоплатного долга перед погибшими.

– *Все ли вы сказали о войне, что вам непременно хотелось бы еще осмыслить и написать о ней?*

– Будущее литературы о войне, думаю, не столько в описании отдельных схваток и сражений (хотя и это немаловажно), сколько в углубленном осмыслении нравственных, идеологических и социально-философских основ минувшей войны. Поэтому толстовский подход к войне в неразрывной связи с миром, с годами, предшествовавшими войне, станет, мне кажется, определяющим.

Во всяком случае, именно в этом русле размышляю я.

– *Какой наказ вы бы дали нынешнему молодому поколению от военного, вынесшего на своих плечах главную тяжесть XX века?*

– Люди моего поколения отличались редкой самоотверженностью в труде, в учебе, в боях за Отечество. Они были великими романтиками-идеалистами в самом высоком смысле слова. И хотелось бы, чтобы нынешнее поколение молодежи было верным этим традициям, но вместе с тем и дополнило их более мудрым и трезвопрактическим пониманием хода жизни, повседневного бытия.

1 мая 1980

## **Самый великий праздник – день Победы** *Из выступления в Останкино. 30 октября 1981*

Но самая большая радость в моей жизни – это то, что я прошел через войну и остался жив. А на войне мне пришлось повидать много. В сорок первом году, когда добровольцами мы все – за немногим исключением, кто поехал держать оборону под Ташкентом, – мы все пошли на фронт. В общем, у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в феврале месяце, там машина одна впереди с ребяташками блокадными, другая – с ранеными, сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами... Страшно много случайностей, в результате которых я оказался жив. Это надо рассказывать очень долго, и вот для меня самый великий праздник, тут уж я открываю прописные истины, это, конечно, День Победы.

Ребят, которые со мной ушли на фронт, нет в живых. Но они и мертвые помогают мне жить. Сколько бывает огорчений, сколько невзгод в жизни, когда чуть ли не в петлю готов залезть, но вспомнишь, что ты остался в живых, что все ребята, твои товарищи, погибли, что погибли, может быть, самые талантливые, может быть, самые гениальные ребята. Мы подсчитали – двадцать миллионов. Двадцать миллионов или больше, мы же не знаем, сколько погибло. А кто подсчитал, сколько погибло талантов, гениев? Как осиротела из-за этого, оскудела наша советская, русская земля. Это же не подсчитано. И поэтому для меня всегда самое первое утешение, что я живу. И я должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету.

## Русская женщина достойна самых великих памятников

А что сказать про войну? Из моей родной деревни Веркола ушла целая рота мужиков, сейчас в клубе на самом видном месте висит список в траурной рамке погибших, не вернувшихся с войны – сто двадцать восемь мужиков. Так вот, русская женщина, русская баба, сельская баба (я не говорю о городской, беру только этот пример) во время войны впряглась во всю эту работу. То, что раньше мужики пахали поля и сено ставили и... прочее, все это она взвалила на свои плечи, и, будьте покойны, она это делала не хуже мужиков. Пройдитесь по сегодняшним полям, – они запущены наполовину, так ведь техники сегодня сколько, тракторов одних сколько, а сенокос? А вот эта самая баба с одной косилкой, с одним плугом, с серпом – она все выжинала, она хлебом кормила фронт, и похоронки на нее сыпались в это время, и детишек нужно было оприютить и както обиходить, сохранить хоть корень мужа, убитого на войне, хоть фамильный корень. Я все это видел, и когда у нас говорят, пишут, что второй фронт в эту войну был открыт в сорок четвертом году, – это неверно. Второй фронт был открыт русской бабой еще в сорок первом году, когда она взвалила на себя всю эту мужскую непосильную работу, когда на нее оперся всей своей мощью фронт, армия, война. Я уже не говорю о подвигах той же русской женщины после войны. Ведь, бедная, думала, что война кончилась – начнется жизнь, а война кончилась – к ней снова: давай хлеб, давай молоко, корми города, давай лес, кубики. И если бы вы знали нашу лесную Россию, сколько поколений девушек были повенчаны с пнем в лесу вместо мужика... А безотцовщина? Трудно даже вообразить, что все это пало на плечи русской женщины. Я не буду сегодня говорить о той роли, которую сыграла русская женщина в истории, ведь и в прошлом Россия всей тягостью опиралась на женщину. Таково было положение в России, что большую часть своей жизни наш мужик воевал. И вот очаг домашний, тепло домашнее, песня – все это теплилось и взрастало новое поколение прежде всего вокруг женщин, это нельзя забывать никогда. И, конечно же, русская баба, русская женщина достойна самых великих памятников. К сожалению, наши памятники не всегда отвечают этому. Всегда ли узнаешь в грудастой бабе с поднятой шпагой нашу мать, с ее бесконечной любовью, с ее способностью к великому самопожертвованию, с ее вечным страхом и заботой и робостью в глазах. Я верю, я надеюсь, что у нас наряду с этими монументальными образами появятся памятники, когда на пьедестал шагнет простая, всем знакомая русская женщина-мать.

1981

## **Из статьи «Мощь и дерзость. О выставке произведений Евсея Моисеенко»**

По тем же законам – предельная конкретность и широчайшая обобщенность на грани символа – построена и прославленная картина «Победа».

Опять же как тут не вспомнить косяки картин, живописующих это незабываемое событие! Праздничные фейерверки, шелк и бархат знамен, медь литавр, ликующие толпы людей на площадях...

У Моисеенко никакой ходульной, привычной романтики. Самый будничней, самый массовидный эпизод из войны – два солдата в момент боя на лестничной площадке, причем один из них, тяжело повисший на руках товарища, уже мертвый, сраженный, быть может, вражеской пулей в самую последнюю минуту... И цвет картины белесо-зеленоватый – цвет, вызывающий в памяти солдатскую гимнастерку, побелевшую от пота и соли.

«Да победа ли это?» – помню, озадаченно перешептывался кое-кто из зрителей, всматриваясь в эту картину, на первой выставке.

Победа. Победа, которая ни на минуту не дает забыть о миллионах и миллионах убитых, о той страшной цене, которой оплачено наше торжество. Победа, где скульптурная, словно высеченная из камня фигура живого солдата поднята до значения монумента.

Давно известно: художник – это биография. И, надо сказать, судьба не обделила Евсея Моисеенко биографией.

Раннее детство в деревне, широко открывшее врата в мир природы, заложившее, так сказать, самый надежный и ни с чем не сравнимый фундамент поэтического восприятия жизни, романтическая молодость, литературным евангелием которой была «Как закалялась сталь» Н. Островского, война... И опять-таки война в самом страшном варианте – с фашистским пленом...

Да, Моисеенко крутого замеса человек, он выварен в самых крутых щелоках эпохи. И не отсюда ли эта богатырская мощь его как художника, этот эпический размах его творчества?

Но сила Моисеенко – это и сознание своего долга перед погибшими товарищами. Сотни тысяч, миллионы его сверстников погибли на войне, и разве может он забыть об этом? Забыть о том, что он в вечном долгу у своего поколения?



## Ответ читателям

Меня часто спрашивают: почему я, участник Великой Отечественной войны, доброволец Ленинградского ополчения, дважды раненный в боях, не написал ни одного произведения о войне? Но так ли это?

Разве непрерывные сражения баб, подростков и стариков в тылу за жизнь, за помощь отцам и братьям, воевавшим на фронте, – разве это не война?

Давно сказано: страна была единым военным лагерем. И бабья, подростковая и стариковская война в тылу – а я один из тех, кто всю жизнь писал произведения об этой войне, – была не менее страшной и героической, чем война на фронте.

Да, снаряды не падали, не рвались. Но работа на износ, работа и за себя, и за мужиков, ушедших воевать, голод, разутость и раздетость – сколько они унесли баб, стариков, подростков, детей? Кто пытался подсчитать эти жертвы войны? А похоронки, которые взошли страшными всходами по всей стране – безотцовщиной? А как не подумать о целом поколении девушек, да не одном, а нескольких, которым суждено стать вдовами, не выйдя замуж?

Это ли не всенародная трагедия? Это ли не страшно?

И все это и многое другое называется бабьей, подростковой и стариковской войной в тылу.

И худо ли, хорошо ли – им, их беспримерной стойкости, их подвигу, их взлетам духа и величайшей трагедии, которая продолжается еще и сегодня (да, да, и сегодня продолжается у нас опустошающая работа войны), я отдал свое перо.

Так можно ли говорить, что я не писал о войне?

*21 июня 1982*

## ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

### Частушки времен войны *Июнь 1942 г. (Из записной книжки)*

Распроклятый этот Гитлер.  
Много горюшка навел.  
Жен, мужей, у девок дролей  
На позиции увел.

Задушевная подружка,  
Дролечка в Германии,  
Задушевного не убили,  
Его только ранили.

Распроклятая Германия,  
С Германией война,  
Ты оставила, Германия,  
Без дролечки меня.

Мы сидим и вечеруем,  
Извещение принесли  
Будто дролечку в Украине  
Убитого нашли.

На германскую границу  
Накидаю елочек,  
Чтоб германские фашисты  
Не стреляли в дролечек.

## Из дневника 1943 г

*20 августа, 16 часов*

Вчера сообщили, что наши войска в районе Харькова на отдельных участках снова продвигаются успешно. Я рад! Собственно, я живу от сводки до сводки.

В зависимости от того, каковы успехи на фронте, у меня меняется настроение. Хорошая сводка – я целый день в хорошем настроении.

Сводки информбюро – барометр моего настроения.

Бувев уверил меня, что мы еще располагаем мощными резервами. <...>

Думается, что под Харьковом для немцев готовится новый Сталинград, разумеется, малых размеров...

Сегодня была первая воздушная тревога. Первый налет на Архангельск был в прошлом году 24 августа...

*21 августа, 23 часа*

Получил письмо от Вали З. Премилое письмо. Она славно живет: работает, купается днем и ночью, ходит за ягодами и грибами, по-старинному справляет праздники. Что может быть лучше? О, время, время! Ты унесло, навсегда унесло деревенскую бревенчатую Русь, малиновые звоны, Красные праздники...

О, Русь патриархальная, я так тебя люблю. <...>

Писательством отстрадал. Бред проходит. Все, что написано, – ужасно безжизненно.

Сейчас заходил Тропников. Он увидел, что я пишу дневник. Рассказал ему пару случаев из деревенских походов. Он внимал мне как художнику.

Тропников сделал правильное замечание, что в силу известных причин дневник чекиста бесцветен. Я ответил, что довольствуюсь фиксацией внешних вех моей жизни. Так оно и есть.

*23 августа, 23 часа*

Еще одна славная победа Красной Армии. Взяли Харьков! Сегодня в 21 час Москва салютовала войскам степного Фронта 20 выстрелами из 220 орудий! Это великолепно, черт возьми! Это великолепнее, чем колокольный звон в Англии в честь английских побед.

Харьков открыл дорогу на Днепр, на Киев. Нужно ожидать еще более мощное наступление наших войск, ибо взятие Харькова высвободило много наших войск.

*15 сентября*

<...> Радуюсь успехам Кр. Армии. Сегодня взяли Нежин. Это последний крупный жел. дор. узел на пути в Киев. Воспрянула Россия. Как приятно русскому слышать о победе русских. Да, в 44 году война закончится.

Союзники медлят. Они допускают величайшую ошибку, упуская удачный случай открыть второй фронт.

Италия капитулировала. Ит. Флот прибыл на базы союзников. Как много не говорится о втором фронте, но он не открывается. В этом сказывается главным образом различие государственных систем.

*23 января 44 г.*

<...> Как много воды утекло со времени последней записи, как много событий и безобразий случилось за это время в моей жизни. Коротко восстанавливаю основные вехи. В последних числах сентября или первых октября ездил в командировку в Каргополь по делу обвиняемого «федоровца». Примечательны два момента: первый – допрашивал на церковном языке, употреблял слова, созвучные допрашиваемому, второе – в обратный путь летел на самолете. Это первое и единственное мое путешествие по воздуху <...>

По приезде из командировки сразу же был направлен в Вологду. Там я пробыл до 5 ноября, вначале допрашивал радистов, а потом – с противником...

11 ноября снова выехал в Вологду, так как в Архангельске делать мне решительно нечего. До 1 декабря работал с радистами <...> 1 декабря направили в Харовскую «для разговоров с Краусом» <...>

Погиб наш брат Николай. Он пал в боях по Днепру. Тело его похоронено на острове Хортица. Тяжело я встретил эту весть. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью о его безвозвратной потере. 2 года смерть щадила наш дом. На третий ворвалась и, бог знает, еще какие опустошения произведет она в нашем роду.

Червь творчества опять точит меня. Ибсен, которого я читаю, вселил в меня страсть к сочинению драмы. Смутно в моей голове уже сложился сюжет ее. Разумеется, она современна по содержанию.

И сюжет ее таков.

Пожилой крестьянин справляет свадьбу. Он женит сына. Для полноты музыки включают радио, которое извещает о нападении Германии. Свадебный пир превращается в «праздник» всего села по случаю проводов мужей и братьев на войну.

На войну уходит и председатель колхоза. Последним на прощальном собрании избирают упомянутого старика. Опустела деревня. Одни старики и бабы.

Новый предколхоза (неграмотный старик) проявляет необыкновенную кипучесть и здравый смысл в руководстве колхозом.

С помощью попа собирают средства в фонд Кр. Армии.

Фронт подошел к деревне на 30 км. Сын старика дезертирует и приходит к отцу. Старик решает сам расправиться с изменником сыном. Он расстреливает его. Это кульминационный момент драмы.

Возможно, что село подпадет под оккупацию и т. д.

Знаменательно то, что с глубоким и злободневным содержанием будет сочетаться народность, деревня, русская песня.

Второстепенные линии: переписка девушек с фронтовиками, Тимка Безлошадный и т. д.

\* \* \*

В Покшеньге старухи смотрят на бой двух петухов, белого и красного, и говорят:

– Если красный победит, крышка Литру – Гитлеру. Дай-то бог.

Тщедушный красный петушок стал сдавать. Старухи, вопя и ухая, забросали белого камнями.

Написать ст. о мл. командире.

– Наш командир ни бога, ни черта не боится.

\* \* \*

Войну-то ребяташки наворожили. Ведь только играли в одну войну. – Замечают старухи.

\* \* \*

Момент из спора:

– У немцев хорошая связь, транспорт. Это причины наших неудач первой фазы войны.

У немца машины, хороший транспорт, а у нас что.

– Позвольте, но ведь немцам нужен был хороший транспорт для того, чтобы наступать.

А ведь мы держали оборону. Не отступить можно и без транспорта.

\* \* \*

Франция завоевана немцами за 37 дней, под Одессой немцы топтались 69 дней.  
Немцы бомбили Одессу часто до сигнала «Воздушная тревога». Одеситы изобрели особое наименование такой тревоги:

«УБ» – уже бомбили.

«Черная туча», «черные дьяволы» – так немцы называют морскую советскую пехоту.

Девочка немцу:

– Дяденька, не убивай меня, мама меня заругает, если я умру.

## День Победы в Петрозаводске

*10 мая 1945, гор. Петрозаводск*

Мы живем второй день в мире. Война окончена! Германия безоговорочно капитулировала!

Для памяти записываю события последних дней.

Еще днем 8 мая по всему Петрозаводску распространились слухи о капитуляции Германии. Ссылались на самые разные, однако авторитетные источники.

В столовой военторга один офицер говорил, что в ЦК КФССР получена телеграмма из Москвы. Другой утверждал, что одной радиостанцией в Петрозаводске было перенято сообщение белгородской и лондонской радиостанций о капитуляции Германии перед союзниками и нами.

Разговоры не переставали на эту тему в течение всего дня. Настроение у всех было приподнятое, взбудораженное, лихорадочное. Ортодокс Михайлов менее всего верил этим слухам и ожидал официального сообщения из Москвы. Лично я собственным анализом событий был уже подготовлен к восприятию этой вести, но, зная грехи заграничными радиостанциями, также с нетерпением ждал правительственного сообщения.

Как бы то ни было, но 8 мая, как показалось мне, люди уже знали, что конец войны – дело нескольких дней. Русский менее других народов поддается на приманку сенсационно-громовых сообщений, но в этот день он не сомневался в возможной правдивости этого сообщения.

Каждый знал, что не сегодня завтра радио возвестит о победе. За несколько минут до 3 часов, когда мы обедали в столовой, по радио раздались позывные ст. «Коминтерна». До сих пор все привыкли слышать позывные в 4. Все офицеры вскочили изза стола и бросились к репродуктору. Позывные продолжались долго. Никто не сомневался, что за ними последует желанное сообщение. Михайлов, совершенно распарившийся на жару, стойчески выжидал.

Но каково было у всех разочарование, когда в 3 диктор заговорил будничным голосом и стал передавать о займе?

Тем не менее слухи к вечеру стали еще более упорными. Многие утверждали, что в 8 вечера будет возведена победа. Все жили как в лихорадке.

Вечером накануне великого дня я читал «Радугу» В. Василевской. Хотя я отдыхал после обеда, но меня клонило ко сну. В 1-м часу я лег в постель. Михайлов в соседней комнате допрашивал арестованного. Не помню, о чем думал, но вскоре я заснул.

Вдруг слышу ночью отчаянно-радостный крик Михайлова: «Федька, вставай! Война окончена!»

Меня словно подбросило на постели. В доме стоял невероятный переполох, сумасшедшие крики радости. По радио гремели победные марши.

Я быстро оделся. Подошел к вахтерам. В дверях меня встретили отчаянные крики: «Тов. лейтенант, война окончена!»

Итак, я заснул во время войны, а проснулся в мирное время. Все сбылось, как предсказывали или желали К. Симонов и его почитательница Янина Левкович. Проснулся – и трава зеленая и небо голубое.

Красноармейцы-вахтеры бросились целоваться со мной – такой обычай на нашей Руси. Чувства радости, небывалой радости взламывают и уничтожают всякие иерархические грани.

Вот что мне сообщили: в 11–12 часов был передан приказ о взятии нашими войсками Дрездена. Затем стали передаваться народные песни, бодрая победная музыка. Вероятно, нетрудно было догадаться, что они являются вестником доброго события.

В 2.10 диктор торжественно объявил, что в 2.30 будет передано важное сообщение. И действительно, в 2.30 указом Презид. Верх. Сов. было возвещено о победе. Пакт о безоговорочной капитуляции с нашей стороны подписан Жуковым.

Часов в 5 ко мне в комнату вошел пьяный вахтер. Радость русского всегда находит выражение в вине. Извинившись за визит, он вышел в коридор и по своей примитивности заорал, быть может, единственную песню, которую он знал: «Шумел камыш». Значит, радость может выражаться в песенной форме любого содержания.

Все утро 9-го по городу раздавались выстрелы. Это опьяненные радостью офицеры приветствовали день победы. Приятно сознавать, что мы с Михайловым первыми в Петрозаводске салютовали великому дню.

9-го я встал в 9 часов. Оба с Михайловым мы прочистили глотки несколькими песнями.

Выйдя на улицу, мы увидели, что город разукрашен флагами.

Кругом сновали празднично одетые люди.

Ресторан с раннего утра был обложен толпой. У управления железнодорожного депо шел митинг. Праздничная толпа стояла под открытым небом. Кто-то трафаретными фразами возвещал о победе. Впрочем, сегодня говори как угодно: все поймут, никто не осудит.

Подвыпивший мужчина у всех на виду целовал другого, вероятно, поздравляя с победой.

В столовой мы осушили в честь победы по стакану. Везде и всюду гремела победная музыка.

Днем мы были у девушек в общежитии. Поздравляли с победой. Перед обедом Михайлов снова салютовал из окна своей комнаты. В этот день мы много пели, веселились по-всякому, как юнцы.

Вечером собрались в ДКА. По дороге были перехвачены четырьмя пьяными бабами. Волей-неволей пришлось зайти к ним. Состоялась разнузданная пирушка. <...>

Но я ушел. Мне казалось невозможным и кощунственным отдать этот день бесстыжим тварям. Михайлов, вероятно, неизбалованный успехами, остался.

В ДКА шли танцы. При входе в зал я сразу же наткнулся на мою знакомую девушку из управления республиканской сберкассы. Стал танцевать с нею. Тяжелое, воловье лицо с большими меланхолическими глазами. При всем этом Вера обладает великолепной фигурой, танцует восхитительно.

Сегодня она оказалась не в меру разговорчивой. В первом же танце она дала понять мне свои чувства ко мне.

Как ни хорошо было танцевать с нею, но я помнил свое обещание. Маленькая студентка Ниночка (ох, и везет мне на Нинок) была бы очень опечалена, если б я не встретился с нею в этот вечер.

Почти под тем же предлогом, что и с престарелыми потаскушками, я распрошлся с Верой. В 1-м часу я уже входил в танцзал университета. Здесь было меньше офицеров и ребят, но зато больше хорошеньких девочек. Белокурая Машенька сообщила мне, что Ниночка весь вечер ждала меня и, не дождавись, ушла домой. Это было и хорошо и в то же время грустно за наивную девочку.

Но, по-видимому, Ниночка столкнулась со мной при выходе или в коридоре. Не успел я выразить банальные сожаления, как маленькая, улыбающаяся, она подошла ко мне. Я упросил ее раздеться. Разумеется, она не сопротивлялась, тем самым открыто афишируя свое отношение ко мне.

Мы танцевали до окончания танцев. Много болтали о пустяках, смеялись. Я проводил ее. Но, не имея никакого желания играть в кошачью сентиментальность, я еще на вечере непрерывно жаловался на болезнь в ногах от тесных ботинок. Бегство было подготовлено.

Когда я вторично пришел в ДКА, там шел последний танец.

<...>

Прежде чем писать о своих похождениях, следовало бы отметить еще одно выдающееся событие этого дня.

В 9 вечера выступал Сталин. Я лежал на койке у вахтеров. Все мысли мои, все чувства были обращены к великому человеку.

Я думал, что речь его сегодня будет горяча, жгуче-радостна. Ведь люди, для которых Сталин – бог и совесть нашего века, после этих кошмарных лет войны так нуждаются в теплом, отеческом слове!

Но речь Сталина была сталинской, лаконичной, сдержанной. «Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!» – так начиналась она. В ней возвещалось об окончании войны и переходе на мирную работу. Из-за акцента я не понял полностью.

Впрочем, в сдержанности чувств – великая мудрость. Это я постиг даже на собственном опыте.

В 10 вечера (кажется, так) Москва салютовала в честь победы 30 залпами из 1000 орудий. Днем по всей стране, в том числе и в Петрозаводске, состоялись митинги на площадях.  
*12 мая 1945 г. 17.00*

Все газеты исполнены ликования нашего народа. Еще бы! Ужасное чудовище германского фашизма повергнуто в прах. Реальный Кощей загнан в свое логово и раздавлен, размолот. Жизнь восторжествовала над смертью, справлявшей кошмарную оргию более 5 лет на континенте Европы. Невиданный изувер Гитлер подох, если это не трюк проклятых немцев. Муссолини и его шайка казнены итальянскими патриотами. Их обезглавленные трупы были выставлены на публичное осмотрение на площади в Милане. Большая часть гитлеровских генералов пленена. Геринг и Гимлер скрылись. Лаваль интернирован в Испанию. Петэн вернулся в Париж. Вероятно, предстанет перед судом.

8 мая в пригороде Берлина подписан акт о безоговорочной капитуляции всех германских вооруженных сил.

Этому событию предшествовало обращение германского правительства, адмирала флота Демица к германскому народу. В нем, между прочим, указывается, что германский народ в течение 5 лет вел героическую борьбу против наших врагов и вынужден капитулировать под давлением непреодолимых сил.

Сукины дети! Героическую борьбу! Сейчас на свете творятся сногшибательные вещи. Поистине каждый час нашего времени равен 10-летиям.

В Чехословакии гитлеровские банды под руководством генерал-полковника Шерера еще сопротивляются. Ничего, русские пушки успокоят их.

В Сан-Франциско с 25 апреля идет конференция представителей объединенных наций по созданию международной организации безопасности.

Советская делегация возглавляется Молотовым. Молотов – один из четырех председателей конференции. Руководство (организованное) ее возглавляет Стемминус. Судя по нашей прессе, Молотов пользуется колоссальным успехом. Однако его заявление о приглашении на конференцию демократической Польши не удовлетворено.

Франко «натянул» «нейтральную» рубаху и просится в лоно объединенных наций. Пока никто не обнаруживает желаний лобызаться с франкистской Испанией.

Вокруг польского вопроса по-прежнему много шума. Союзники боятся советизации Польши и по-прежнему подкармливают лондонских эмигрантов. Они ратуют за более широкую демократизацию польского правительства, безусловно, имея в виду включение в него лондонских реакционеров.

В польском вопросе борются две силы: капиталистический Запад и социалистический Восток.

В американской прессе снова вытащена теория санитарного кордона, и Польша должна явиться именно такой страной, которая станет на пути проникновения коммунизма в Европу.



Все славянские государства обязаны своим избавлением от германских оккупантов Советскому Союзу. Советский Союз – воистину старший брат среди слав. народов, славянские страны более других страдали от германской агрессии.

Ныне, в век демократизации славянских государств, создаются все условия для подлинного объединения славянских народов вокруг Сов. Союза. Судя по газетам, они сами понимают необходимость этого (в широком смысле – тесного сотрудничества с Советским Союзом в военной, экономической и торговой областях) и готовы признать гегемонию Советского Союза.

Если бы Славяне объединились вокруг русского народа, тогда не было бы на свете силы, способной разрушить их мир и благополучие.

В единении Славян – их сила! И она уже есть: Болгария демократична, Югославия живет по образу Сов. Союза, Чехословакия любит и уважает нас (назначение Свободы главнокомандующим), но Польша – дурацкая страна!

Интересный анекдот (он отражает наше влияние на Польшу):

– Пан, сколько у вас республик? – 16.

– А 17-ю не думаете строить? (намек на возможность советизации Польши).

Второй анекдот, также говорящий о роли советского элемента в жизни Польши:

Советский подданный поляк-коммунист прибыл на службу в польское Войско. По обычаю поляков, он, вопреки своим атеистическим взглядам, вынужден был идти в костел. Во время молитвы он один стоял, не молясь. Подходит ксендз, спрашивает: «Пан офицер почему не молится?», офицер отвечает неловко:

«Не могу».

Далее по церемониалу службы все опускаются на колени и касаются лбом пола. Один офицер не делает этого. Снова подходит ксендз и снова спрашивает: «Пан офицер почему не встает на колени?» Офицер, набравшись смелости, наклоняется к уху ксендза и говорит: «Понимаете, я член партии и молиться не могу». Тогда ксендз отвечает ему: «Вот и хорошо, что член партии. Я председатель партийной комиссии. Завтра заходите ко мне».

Илья Эренбург сошел со сцены. Странно не слышать этого глашатая гнева и мести гитлеровским каннибалам в дни торжества<sup>1</sup>. Кто, кто, а Эренбург в дни войны верно служил народу, он воспитывал в нем гнев, месть и сознание своей силы, дьявольски издевался над немецкой военщиной и воспевал величие советского человека. Недаром Гитлер, говорят, сказал, что за голову этого еврея он отдаст свою лучшую армию.

В конце апреля в «Правде» появилась статья Александрова «Тов. Эренбург упрощает». В ней говорилось, что в своих статьях Эр. отождествляет герм. народ с гитлеровской кликой, называя германский народ колоссальнейшей толпой убийц и бандитов. Разумеется, со строго политической точки зрения это неверно. Неверно в том смысле, что отождествление герм. народа с правительством ставит его под топор гильотины, ибо объединенные нации решили беспощадно наказать военных преступников. В этом смысле статьи Эр. могли и, безусловно, явились лишним козырем в руках гитлеровской пропаганды для пропагандирования идеи сопротивления немецкого народа до последнего, так как участь его окончательно предрешена.

Но Эр. говорил голосом народа, а голос народа, принявшего от немцев столько мук и страданий, не всегда соотносится с принципами международной политики. Это аксиома, что всякий русский не прольет ни слезинки, если Германия хоть сегодня провалится в царство Сатаны со всем ее проклятым населением. «Мне мщение и аз воздам». Только во все испепеляющей мести народ может утопить свое горе и беды.

Мир возвращается к миру. Как ни велика будет наша армия, но все пожилые возраста не в этом, так в следующем году вернуться к плугу, к станку. Деревни сейчас пусты. Мужское население только в городах. 4 года наши деревни страждут по мужскому духу. Невыразима

---

<sup>1</sup> Ф. Абрамов не совсем прав. После месячного молчания И. Эренбург напечатал статью «Утро мира» 10 мая в «Правде».

радость встречи будет, но не менее страшны и потрясающи будут плач и вой осиротевших. Жившие все эти 4 года одной надеждой встречи, они только тогда поймут постигшее их горе, только тогда дойдут до глубин России непоправимые бедствия этой войны. В чем же найти удовлетворение осиротевшим семьям, бедным бабам, как не в сознании того, что их горе стоицей оплачивается?

Но наше правительство не упирается в корыто будней. Чтобы сцементировать миролюбивые нации, в союз которых хотят внести раздор реакционные элементы, мы иногда жертвуем индивидами, так сильно наше желание создать благополучие для коллектива, общества.

Несомненно, И. Э. именно такая «жертва». Впрочем, жертвование индивидом ради блага коллектива, народа – вот подлинный гуманизм.

Всякая настоящая политика исключительно гибка. Как правило, лозунги ее на разных этапах (реализуют) популяризируют отдельные личности и, как правило, одной личностью, которая вкладывает всю свою душу в популяризацию одного лозунга, хватает только на один лозунг.

В разгар борьбы с немцами был выдвинут лозунг «Убей немца!»

Эренбург с редкостной силой, страстью и жаром проводил этот лозунг в своих статьях. Тогда не разбирали, кто немец – рабочий или фашист. Раз немец, значит, подлежит смерти. Тогда, хотя Сталин и тогда предупреждал и заявлял, что мы различаем герм. народ и гитлеров. клику, Германия представлялась нам огромной бандой убийц, грабителей, варваров. Такова Германия, слышим мы, и сегодня, но формально различаем в герм. народе рабочих, крестьян и фашистов. Как ни жаль, но Эренбург должен был перестать на время писать статьи. Но он может не беспокоиться: наши основательно поработали в Германии, чтобы навсегда отбить у ней охоту к войнам.

Место Э. в «Правде» занял Л. Леонов. Я читал его две статьи «Утро победы» и «Русские в Берлине». В них нет зубов Эренбурга. Правда, они написаны русским человеком, вернее, русофилом. В них постоянные экскурсы в русск. фольклор, народную историю.

Введения очень романтичны, но зерна в них нет, вернее оно есть, но в разбухшем состоянии. Перемещение фольклорных выражений с газетными не всегда удачно, искусственно.

Но Леонов русский. Наш век такой, что о русском должен писать русский.

Стиль Э. крайне своеобразен. Он – отражение лихорадочного темпа жизни нашей эпохи. В нем перемешано все. Сочетание бытовых деталей с высокими вещами и идеями. Очень остро действует на интеллект и чувства. Ст. Эренбурга – сплошные зубы. Они написаны человеком, сжигаемым ненавистью к врагу и безграничной любовью к своему народу.

Хочется, чтобы Илья воскрес!

*13 мая, воскресенье*

Военная эпоха в основном закончилась. Конечно, войны с Японией не миновать. Хватит! Довольно! Более двадцати лет она грозила нам войной и не раз вторгалась в наши земли.

Япония заслуживает строгой кары, и, безусловно, наше правительство воспользуется моментом и покарает ее. Народ с удовольствием встретит весть о выступлении против самураев.

На Восток идут эшелоны. По слухам, там Василевский. Армии на Востоке кадровые. Техники уйма.

Своим отказом продолжить договор Советское правительство дало понять, что мы не гарантируем Японии дальнейший мир.

Война с Японией будет стоить для нас малых жертв. Их уменьшает, во-первых наш военный опыт и техника, во-вторых, в войне с Японией мы будем придерживаться тактики наших союзников на Западе – захват каштанов чужими руками. Спешить на Востоке нам некуда и ни к чему.

Думается, что Советский Союз вернет Порт Артур, КВЖД, Корею (?), полную часть Сахалина.

Итак, возвращаюсь к 1-му положению: война закончилась.

Начинается мирная созидательная работа. Перед каждым встает вопрос о выборе профессии.

Я уже давно мучаюсь этим. Остаться в контрразведке или уйти на гражданку – вот дилемма.

Что я выигрываю от того, если останусь в органах:

а) хорошая материальная обеспеченность;  
б) возможность получения генеральского чина;  
в) возможность в отдаленном будущем поездки за границу (перехода в НКВД) и больше, пожалуй, ничего.

В чем проигрываю:

а) полнейшее отсутствие свободного времени;  
б) прощание навсегда с грезами жизни о Schriftsteller и т. д.;  
в) нелюбимая работа, вечные сомнения об упущенных возможностях и т. д.;  
г) прикованность к одному месту, невозможность странствования, скованность в действиях и т. д.

Мой характер требует постоянного обновления, изменчивой, подвижной работы. Пожалуй, надо уйти.

## Стойкость

Замужняя женщина встречается с другом своей молодости. Она до сих пор любит его, любит и он ее.

Однажды, после пожара, когда они остались вдвоем в лесу, на лугу – или на сенокосе – женщина так расчувствовалась, что готова была отдаться. Но она вспомнила, что сейчас война, что ее муж, пусть она его и не любит, проливает кровь на фронте и что изменить ему сейчас – величайший грех. Она напряжением всей своей воли, всех своих душевных и телесных сил «удерживается» от падения.

Мужчина, который так долго ее любил, который готов жениться и сейчас, горько упрекает ее.

Она объясняет ему, почему нельзя – «Я сама со стыда бы сгорела... не было бы войны, разве бы я отгаливала тебя».

Он: Да ведь я тоже с войны. Почему же ты меня-то не пожалеешь? Или я кровь не проливал? Или не инвалид я?

Она: Ах, Ваня, Ваня, все знаю, а не могу. Ты и инвалид, а вроде дома, не на войне.

Подчеркнуть драматизм положения женщины: она не любит своего мужа. Вышла за него, потому что он изнасиловал ее еще в девках, и она вышла за него, чтобы покрыть свой грех – по настоянию матери.

(Варвара Пашкина).

1948

## **О героизме женщин в тылу**

Фронтовик во время отпуска по ранению видит, как самоотверженно, по-геройски трудятся женщины. Он спрашивает себя: кто же внес большой вклад в дело разгрома Гитлера, чьи плечи вынесли главную тяжесть войны. Плечи женщин!

На войне или ранение или смерть. Об еде, хлебе нет забот.

В тылу у женщины семья ребятишек. Нет хлеба. Постоянная нужда. Война, борьба за победу каждый день.

Пропеть страстный дифирамб женщине.

Целую твои шершавые руки. Творец жизни.

## О материнской любви

У вдовы – единственный сын. Был единственной радостью ее жизни. Овдовела рано. Родила на болоте (Болотнике). Бывало, вечером, к ней стучатся мужики. Одного из них любит. Но не хочет срамиться. Сын был спасением. Взяв его в охапку, она выплакивала свое вдовье горе.

Вырастила сына. Председатель колхоза, хотя и молод.

Война. Взят во флот. Убит.

Это известие сразило ее. Заботы соседей. Встала. Снова самоотверженная работа. Простуда. Болезнь. Видения сына; краткая история жизни (Федя Яковлев).

Больше всего старуху пугало то, что от ее сына ничего не останется на земле. Он был последний в роду. Она горько упрекает его, покойника, в том, что он не женился перед войной. А уж как она просила его. А девки-то как засматривались на него.

Старуха умерла. Но она была неправа, что о сыне не останется никакой памяти. Новую школу колхозники назвали именем Героя Советского Союза – ее сына.

## О героизме

Спор между двумя людьми:

1. Героизм – результат случайного стечения обстоятельств. Героизм от смерти.
2. Героизм – высшая форма патриотизма, результат всего общественного и личного воспитания человека.

Подтвердить иллюстрациями – рассказами.

## Романтика жизни и романтика книги

Юноша, курсант военного училища, знакомится с романтической, восторженной девушкой. Объясняется в любви.

Девушка, чтобы испытать силу любви, предлагает ему дезертировать из училища на два дня. Юноша совершает побег.

Возвращается, его судят, приговаривают к расстрелу. Девушка ходатайствует за него. Расстрел заменяют отправкой на фронт, в штрафной батальон.

Далее – оба освобождаются от книжной романтики, оба убеждаются, что романтика действительности выше и ярче рыцарской романтики прошлого.

Бои на окраине Петергофа. «Синие розы» накануне.

Вторые сутки без еды. Неудобная позиция – в ложбине, деревня на горе занята.

Старый командир бежал.

Новый – студент. Фланги дрогнули.

Расстрел своих.

Героическая борьба.

Маскировка пулемета – немцы засекают.

Стрельба из горящего чердака.

Отступление.

Смерть Рогинского.

Палец.

Володю Пренцова – оставили в доме.



## Бессмертный

Молодого партизана немцы топят в проруби. Руками он хватается за края проруби – кромка льда. Немец тесаком отрубает пальцы на одной руке.

Партизан погружается в воду. Было темно, вьюжно, и немцы не заметили, что за прорубью большая полынья. Партизан, проплыв под льдом сажени 2–3, быстрым течением выбрасывается на поверхность воды. Мелко. Он встает, выходит на берег. Потом громит немцев, наводя на них ужас.

(Дважды рожденный).

## **О мысли, психологии солдата на войне, в окопе**

О доме, о прошлом, и главное – о женщине, о девушке. Тоска неизбывная... У нас в литературе об этом умалчивают.

Солдат мысленно оглядывает всю свою жизнь, строго судит свои поступки и дает слово исправиться. Так думает, вдруг снаряд, пуля – и нет человека.

\* \* \*

На войне человек добрее по отношению к своим, родным и звереет по отношению к врагу.

Человек на войне – поистине игрушка. Идет, сидит, поет, думает – вдруг хлоп снаряд, и нет ничего от человека.

## Картинка

Двое-трое стоят в глубоком окопе – бруствере. Курят. Пуля пробивает одному голову. Он не меняет позы. Папироса дымится во рту, потом гаснет. Товарищ зовет его, не отвечает. Подносит к папиросе спичку. В темноте освещается лицо, на нем мертвые стеклянные глаза.

Самолеты, обстреливающие окопы трассирующими пулями, похожи на гигантских мух, на какие-то ужасные машины, прыгающие на серебряных ногах.

Лошадь на минном поле.

Спасение Рогинским.

## Встреча

Раненного студента солдата кладут на операционный стол. Он приходит в себя, открывает глаза, но бред еще не прошел: он видит только глаза, серые, большие – на простыне – так воспринимается им она в халате.

Потом узнает ее. Ему стыдно своей наготы. И т. д.

## К рассказу «На поле боя»

Раненый солдат (я), лежа в воронке от снаряда, полусасыпанный землей и снегом, вспоминает, о чем думал раненый Андрей Болконский. И ему страстно хочется высокого, чистого, синего неба. Он с усилием устремляет глаза кверху, но там – *серая, грязная муть*.

...Ему вспоминается дом, сенокос или что-нибудь в этом роде – картина *мирной красивой жизни* – например, сенокос коллективный на домашнем.

\* \* \*

Лектор так все рассказал о войне, как сам там побывал...

\* \* \*

Ефрейтор рассказывает солдатам об устройстве винтовки.

– Винтовка як людыня мае свои частины: ствол, затвор, приклад. А людыня мае руки, ноги, голову, череву... Як ты винтовку собираешь, то требу усе проченити до своего мистя, бо она буде деяты не так як слид.

Наприклад тебе сробили поутру разборку. Прочистили, змазали, а патим збирать поченили тибе руки, ноги, череву. А тут тривога, тебе и поченили замисто головы сраку.

Ось ты стоишь в строю ни якого воинского вида не мае: воротничек не сходится, пилотка не налазить, уси кричат: «Здравия желаю, товарищ генерал!», а ты бздишь.

Тоби-то ничего, а мини и командиру роты неприемность.

\* \* \*

Пятеро солдат и ефрейтор просят ночевать к украинской бабуся.

Бабуся:

– Кто там?

Солдаты:

– Пустите переночевать.

Бабуся:

– Много ли вас?

Солдаты:

– Пять человек и ефрейтор. Бабуся:

Бабуся:

– Ну вы пятеро заходите, а ефрейтора привяжите во дворе.

(Бабуся приняла ефрейтора за лошадь.)

19. I. 1956

– Ближе познакомился с Германом. Два раза ходил в баню. Ах, какой он парень! Что за чудесная душа! Какое бескорыстие. Я просто влюблен в него. Да, Герман не очень-то умен, но уж зато человек что надо. В нем с поразительной яркостью выражена доброта, незлобивость, душевная чистота и честность русского человека.

Первый выход в баню был импровизированным. Сидим на партбюро. Уже десятый час. Пишу Герману: надо идти в баню, не составишь ли компанию? Да, составлю. И вот уже четверть десятого, двадцать минут десятого, наконец полчаса. А у нас все заседание. Ну, думаю, прощай баня. Но вот кончилось бюро.

- Пошли, быстро! – говорит Герман.
- Но мне надо домой. У меня нет ни мочалки, ни белья.
- Ерунда! Мы всегда так ходим. Вот увидишь, как хорошо.
- Я отказывался, но наконец согласился.

Едем на 1-ю линию. По пути забегаем в шалман. Взяли поллитра. Выпили по 100 гр. – остальное с собой.

Быстро добираемся до бани, берем веник, простыни. Почти за все платит Герман. И это платит человек, у которого такая семья и который получает меньше нас.

В бане с ним здороваются как с знакомым. Проходим к шкафам, раздеваемся. Скорей, скорей!

- Пошли?

Я оборачиваюсь к Петру и Герману. Смотрю: а Герман сидит на скамейке, без ног, живой обрубок. Пока он был на протезах, я как-то не думал, что у него нет ног. А тут – беспомощный калека. Был на ногах и вдруг без ног. Но что особенно потрясло меня – виноватая, беспомощная улыбка на лице Германа. Улыбается так, как будто он в чем виноват, как будто хочет извиниться передо мной. Здоровенный дядя с виноватой, заискивающей улыбкой. (Улыбка ребенка!) на толстом, грубовато-толстом, грубоватомужичком лице!

Кое-как я освоился, хлопнул Петра. А тот привык.

- погоди, погоди. Посмотрим, кто сильнее.

– Да ты не смотри, что Петро такой худой, – говорит Герман. – Он таскает меня один, а другие не могут.

Это сказано было с гордостью.

- Давай, понесу я, – говорю я. Я хотел взять его за кукорки.

- Нет, нет, на руки.

И вот я беру Германа на руки как ребенка. И он как ребенок обхватывает меня за шею. И как ребенок боится, что его могут уронить.

Я с трудом дотащил до двери парилки.

– Ладно, давай уж! – презрительно махнул рукой Петро. Он взял Германа – худенький, тощий – спокойно и привычно впер в парилку, потом на полоч.

Герман стал париться. Парился он самозабвенно, как парится русский.

- Федор, давай попарю тебя.

И он хлестал, растирал меня веником с любовью, с добрым сознанием того, что и он приносит мне пользу.

В парилке было жарко, и мы с Петькой вышли в предбанник. Сели, стали говорить. Потом я спохватился: Германа-то мы забыли.

- Ничего, – равнодушно сказал Петр. – Здоровый черт, сам выйдет.

Меня это равнодушие поразило. Но оказывается, за этим равнодушием скрывалась настоящая, требовательная любовь; пусть сам привыкает.

Все же, когда я встал и пошел в мыльную, Петька тоже встал. Вдруг я вижу: в тумане к нам навстречу бредет Герман. На тазаках. Широкое лицо его сияет. Он доволен и тем, что попарился, и тем, что передвигается сам. Я бросился ему на помощь. Петька не пошевелился.

- Брось, – сказал он. – Пусть сам.

Когда разместились на лавках, я с восхищением сказал:

- Ты, Герман, просто герой. Настоящий герой! Тебя надо на руках носить.

- Брось! – монотонно сказал Петька. – Его бить надо. Черт поганый, ничего не делает.

Где диссертация? Вот погоди, на партбюро будешь отчитываться, мы намнем тебе бока.

Мне показались слова Петра обидными, черствыми. Я вступился за Германа.

- Нечего, нечего его расхваливать. Не заслуживает.

А как реагировал на замечания Петьки Герман? Он не возражал. Он давно уже привык относиться к этому худенькому пареньку – моложе его на 8 лет – с уважением и любовью. Да и как можно было иначе. С Петькой они дружат больше 10 лет. Вот уже 10 лет Петька таскает его в баню. Петька получил кандидатскую степень. А что же? Сейчас он отдает Герману все излишки денег, вернее, не излишки, а делится всем, что у него есть.

На днях захожу в партбюро. Петька уезжает в Москву в командировку. И надо было видеть, с какой трогательностью Герман заботится о нем.

– Вот тебе билет, – подал он железнодорожный билет Петьке. (Это Мариша купила по его просьбе.) – Вот тебе сумка и харчи. Деньги ты получил?

– Триста рублей.

– А ведь тебе не хватит.

– Хватит, – сказал Петька. – А ты мою зарплату получи, да рассчитайся со своими долгами. Сколько тебе говорить об этом?

– Ладно, рассчитаюсь, – виновато сказал Герман.

– Не ладно, а чтобы у меня было в точности! – строго сказал Петька. Да, Петька чудесный парень! Без рисовки, без позы!

Выйдя из бани, мы сидели перед шкафами, вытирались, пили пиво, блаженствовали. Я давно не испытывал такого удовольствия.

Отдыхало тело, отдыхала душа. Было приятно сидеть с добрыми, хорошими товарищами, которые любят тебя и которых ты сам любишь.

Герман улыбался блаженной улыбкой ребенка. Хорошо! Хорошо!

– А знаешь, Федор, ведь здесь нас застало наводнение. До колена воды. Выбрались мы на улицу. Я бреду по колено. Мне что – у меня деревянные ноги. А Петьке-то какво до колена. Бабы кричат: стенки, стенки держитесь – в люки сорветесь. А я и не знал, что есть люки. А помнишь, Петро, у меня протез лопнул – и ты тащил меня целый квартал.

Петька – человек рационалистического склада (по крайней мере, хочет быть таким), предаваться воспоминаниям не любит.

– Пей! – кивнул он.

Потом стали одеваться. Вижу, Петька привычно стал осматривать культяпки Германа. Натерло, нарывы. Нагноения.

– Сиди! – сказал он.

Раз – и гнойник в его ногтях. Герман подергивается, морщится.

– Не придуривай. Как пойдешь?

Он подносит к глазам гнойник, катает на пальцах, рассматривает.

– Видишь, сегодня суше.

И все это без малейшей брезгливости, без проявления какихлибо эмоций.

Проделав эту операцию (а он совершает ее каждый раз), Петька даже не пошел обмыть руки.

Что это? Нечистоплотность или привычное отношение к телу Германа, как к своему?

Какая человечность! Какая душа у этого парня.

– Герман, тебе больно ходить? – спросил я.

– А как ты думаешь? Конечно, больно. Видел, что у меня на культяпках. Каждый шаг с бою, Федор. Но ничего! Вот только протезы не дают... Скрипят как немазаная телега.

– Как не дают? Почему?

– Экономят средства. Раньше на год выдавали, а теперь на два. А понимаешь, Федор, на два они никак не выдерживают. Да и неудобно: скрипят. Идешь, все только и смотрят: телега или человек. А на заседание опоздаешь – хоть не заходи. Такой шум да скрип – докладчика не слышно.

Боже мой! Германа волнуют прежде всего удобства людей. Видите ли, людям он доставляет неудовольствие. А то, что ему плохо, – наплевать.

Слушая его, я вспомнил один случай. Вышли мы с Германом вечером с факультета, к остановке подходит автобус.

– Нажимай, Федор! Побежали. Вдруг что-то треснуло.

– Стоп!

В чем дело? Выпал болт из протеза. Стали искать. Я кое-как нашел.

Герман достал ключ, засучил штанину и тут же стал ввинчивать болт. Мы провозились минуты две, пока удалось приладить болт.

– Ну, спасибо, Федор, – обрадовался Герман. – Спас ты меня. А то сидеть бы мне неделю дома.

Было полпервого ночи. Мы долго ждали автобуса и не дождались.

– Пойду-ка я, Федор, вперед. Может, что попадется.

– Я провожу тебя.

– Нет, нет. Люся будет ругаться. Привет ей большой.

И он, закидывая протезы, ужасающе скрипя ими на морозе, поплелся домой. И вот какому-то мерзавцу пришла идея экономить средства на протезах Германа. Мучайся – зато экономия. И ведь, наверно, негодяй радовался: вот, мол, изыскал дополнительный источник экономии, и, может быть, даже премию получил. Ужасно! А сколько таких Германов в Ленинграде? Какова экономия! Да если бы их было и много. Разве может быть речь об экономии на Германах?

После того как Петр произвел операцию над Германом по вырыванию затвердевших гнойников, Герман стал прилаживать протезы.

Вижу, бинтует культяпки, потом натягивает капрон – две пары.

– О, да ты простые-то еще не носишь.

– Капрон меньше натирает. Слушай, у Люси наверно есть бросовые чулки. Спроси.

У Люси действительно оказалось две пары негодных чулок. Когда мы пошли с Германом в баню в следующий раз одни (без Петра), я передал ему. Он долго вертел их, рассматривал.

– Не возьму. Они еще совсем хорошие. Их носить можно. Меня опять поразила эта забота о другом человеке. Сам он транжирит деньги направо и налево, а тут проявил практичность. У них с Петькой такой обычай: идут в баню безо всего и каждый раз покупают мочалку.

– Вы слишком богаты и расточительны, – заметил я. – Я не могу позволить себе этого.

– Понимаешь, жинка ругается, когда прихожу с мочалкой. А потом, Федор, раз в десять дней можно позволить себе удовольствие. Вот он – русский человек! Сплошная доброта. Между прочим я рассказал Герману о своем двоюродном брате Арт. Дмитриевиче. Он очень внимательно слушал.

– Понимаешь, Герман, я лет до 11 не знал, что у него нет обеих ног. Идет, покачивается, с тростью, всегда улыбочка.

Тут я рассказал ему историю его жизни, то, как его бросила молодая жена и как, спасая себя, приютила его монашка Анастасия Алексеевна.

Герман был возмущен поведением жены-изменницы. Но когда я упомянул, что Арт. Дм. очень гордился, что он каждый год первый приносил жене из лесу свежую землянику, это его очень обрадовало и заинтересовало.

– А далеко ли этот лес? А как он ходил?

А как радовался Герман, когда он, зайдя в баню, выжал на силомере всех больше! К моему удивлению, Петр Андр. тоже выжал больше меня.

Да, таков Герман. Но жизнь его не балует. Человек отдал людям самое дорогое, отдал все. И как же отплатили ему люди? Он ютится в общежитии студенческом. В одной комнате – две матери, жена, он, двое детей. О занятиях дома и речи быть не может. Человек, которого



надо бы носить на руках, не имеет ни нормальной комнаты, ни ванны. Это ведь ужасно, когда он вечером карабкается на своих культяпках в уборную. Это видят студенты. Герман не раз ставил вопрос о жилье – перед ректором, перед Житченко. Дайте комнату в квартире, где есть ванная. В самом деле, баня для него – самая большая проблема.

И вот эти люди глухи к его просьбам. Да как они смеют называться коммунистами! Если бы они были настоящие коммунисты, они бы уступили ему (на худой конец) комнату в своих апартаментах.

Какое безобразие! Почему этим здоровым мужикам все удобства в жизни, а Герману – ничего? Может быть, их заслуги больше перед государством? Допустим, что больше, допустим, что ноги человеческие ничего не стоят.

Но кто же помог Житченко и Александрову выдвинуться в жизни!

Герман! В то время как эти два здоровых мужика околачивались в тылу, этот мальчишка завоевывал им победу, право на работу в науке. Это Герман сделал Мейлахов, Плоткиных, Александровых и прочих тем, что они есть сейчас. И вот награда! Они забрались в комфортабельные квартиры, а Герман каждый вечер на культяпках своих ползет на глазах у студентов в общую уборную.

Нет! И Александров и Житченко лишены элементарной совести!

И что поразительно! Герман служил за них во время войны. Он отдувается за них и сейчас. Мейлахи и Плоткины загребают деньги, роскошествуют, а он, Герман, и после войны организует им условия для производительной работы и спокойной жизни.

Да, это он сейчас проводит всю организаторскую работу на факультете, гремит весь день по коридорам. А они со всеми удобствами творят науку. Безобразие!

Все эти мысли мне пришли в голову, когда я мылся в бане. Что бы сделать? Трахнуть об этом на каком-нибудь партсобрании, написать в Горком, в Обком, в ЦК? Выйти на трибуну и прямо рубануть. Как смеете вы, Александров и Житченко, говорить здесь от имени партии? Вы, которые забыли о Германе. Вы зарекомендовали себя в науке, но кто вам помог это сделать? Герман. А видели ли вы, как он ползает в уборную, карабкается по грязным полам бани? А видели ли вы, какие операции над ним продельывает Петр? Так как вы смеете держать его в общезнании?

Поможет ли это? Но действовать надо! Нельзя терпеть это!

– Я хотел бы, чтобы Житченко хоть раз со мной сходил в баню, – сказал Герман.

– Дорогой мой! Это невозможно. Он не ходит в баню. Как-то на днях Герман попросил в партбюро отпуск на три дня. Надо написать статью. Мы подумали-подумали и просьбу отклонили.

– Нет, сейчас ты нужен на факультете. Другой бы стал кричать. А Герман – нет.

– Герман, – сказал я однажды, – тебе надо писать диссертацию. До каких пор ты будешь в роли организатора? Зачем ты согласился второй год работать в партбюро? Разве ты хуже других?

– Но надо же кому-нибудь работать! Ты ведь сам просил меня остаться. И Рождественская, и Емельянов и другие.

Да, он все принимает за чистую монету.

Наивность и простодушие подкупающие! Он, как и в годы войны, опять пришел на выручку. Собственные неудобства его не волнуют, он к ним привык. А вот дети – это другое.

– Требуй ты комнату. Квартиру требуй! – говорю я.

– Да, придется просить. Понимаешь, Ленка у меня на коленках ползает, мать ругается: ты чего это? А чего ты не ругаешь папу: он тоже на коленках. Понимаешь, что получается. Увидела – ползет отец, и ей надо. Вот что дети.

Герман сообщил мне такие факты, которые меня буквально потрясли.

Оказывается, рука человеческая оценивается у нас в зависимости от зарплаты человека. Колхозник, потерявший руку на войне, получает 40 руб. Такую пенсию получает Валька Филиппов (до войны он нигде не работал). А какой-нибудь Кныш получает за свою руку не одну тысячу.

Почему это так?

Почему рука одних людей стоит больше, а других меньше?

Кто выдумал такие законы? Ведь это же просто узаконивание неравенства.

Или семьи, потерявшие своих кормильцев на войне, получают разную пенсию. Одно дело, если твой отец рядовой солдат, другое дело – если он офицер. Черт побери, да ведь это в Советском Союзе. Почему же должны страдать дети? Жрать-то они одинаково хотят – что дети рядового, что дети офицера? И потом – учитывается ли, что рядовой мог бы со временем стать и офицером, вырасти до начальника и т. д. Разве все это гуманно? Как это можно оправдать?

Или как можно допускать такие вещи: на днях факультет попросил выделить человека для поездки на длительное время за границу. Кого и посылать как не Германа? Специалист, заслуженный человек. Так нет же! Оказывается, нельзя. Он ненадежен как человек, может неожиданно умереть и не оправдать тех средств, которые будут затрачены на его командировку. Это ужасно!

Герман с этим, видимо, уже давно свыкся и стал собирать в командировку своего первого друга Петра. Как он будет обходиться без него, с кем будет ходить в баню, кто его ободрит и поддержит – все это не существует сейчас для него. Главное – послать в Югославию своего парня.

– Много дает эта командировка, – сказал мне Герман. – Годика через два-три Петька и докторскую маханет. Каково, а? Федор? – подмигнул он мне. Да, никакой зависти (не в пример мне). А как он радовался, когда защитил диссертацию Петька! Другой бы, во всяком случае, переживал: вот, мол, вместе учились, вместе в аспирантуру поступали. Он кандидат, а я что...

Но у Германа не было этого чувства. Это меня так поразило, что я готов был даже подумать, что это у него идет от излишней простоты, простодушия.

Но это не так. Герман – добряк из добряков. Это самая характерная у него черта.

Много пережил этот человек на своем веку. Получается так, что его жизнь не имеет никакой ценности. Ему, например, отказано в праве застраховать свою жизнь. Почему? Да потому, что нет уверенности, что он не загнется завтра. А дети? Для них-то можно застраховаться? Нет!

Происходит нечто чудовищное: жизнь настоящего героя начисто обесценивается.

И что удивительного, что Герман кое в чем разочаровался. Раньше горел на партийной работе, а теперь остывает. Теряет веру в Житченко, в Александрова и т. д.

Он часто сожалеет о том, что пошел по ученой стезе. Жить бы ему в Сибири, работать бы каким-нибудь председателем райисполкома, иметь садик, огород, настоящую семью. И к черту всех этих Мейлахов.

– Иной раз страшно становится, Федор, как посмотришь, что делается кругом. Говорит Житченко: поставьте вопрос перед Обкомом об изъятии лишней площади у людей. Знаете, вы будете самым популярным человеком в городе.

Струсил.

– Нет, пусть кто-нибудь другой.

А почему? Потому что у него самого излишки.

Странно иногда обходятся с Германом. На последней районной конференции Герман решил выступить с резкой критикой райкома. Попросил записать в прения. Но о его выступлении стало известно Житченко.

«Вас Софронов громить собирается», – шепнул Ал. Ал. Никитин.

И что же? Слова не дали! Больше того, вывели из плена райкома. Вернее, не ввели, хотя как член райкома он зарекомендовал себя прекрасно. Четыре раза участвовал в комиссиях.

Подумать только: Герман стал неугоден. Герман – герой Отечественной войны и честнейший человек!

Мне на днях говорит: возьми меня летом к себе на Север. Хочу пожить среди людей.

Какая наивность! А где деньги? А как он преодолет все трудности пути?

9. V.1969

Чуть ли не первый праздник, в который я работаю. И работал успешно – придумал концовку «Несмышленьшей».

Но главная моя победа – новый рассказ «На курорте».

Родился он прелюбопытно. Мы с Люсей поехали на Каменный остров проветриться (у нее болела голова), было жарко, непривычно после холодов, и я начал нервничать. А тут еще новый правительственный особняк, обнесенный глухим железобетонным забором (новое чудо строительной техники. Какой-то инженер наверняка получил премию). Я начал по обыкновению клясть бюрократов и не только шепотом, а во весь голос. Люся стала нервничать, умолять прекратить это. И вдруг, спускаясь в садик, там, где, по рассказам, была дача Шаляпина, меня осенило: в одно мгновение родился рассказ.

Мы сели на скамейку, я рассказал Люсе. Ей понравилось. Вот так рождаются рассказы. А идея его во мне зрела давно. Меня еще лет 9–10 назад, когда мы были в Ялте с Люсей, поразила социальная пропасть между тем, кто отдыхал на общем пляже, и на пляже для слуг народа – рядом, за огромной железной, специально выкованной оградой («срочный заказ»), с подъемником, с закрытой купальней. И всего на этом пляже была только одна толстозадая баба. С победой, писатель! На этот раз с двойной!

10. V.1969

Что больше всего меня поразило в день Победы в этом году? Горячие, раскаленные батареи на лестнице в доме Ивана Кривенко (Гаванская, 17), лето, духота страшная, в тени 25°, а тут во всю калят батареи.

В чем дело? Может быть, кочегары с ума сошли или запьянствовали? Ничего подобного. Отопительная организация Василеостровского района выполняет план.

Оказывается, зарплата, прогрессивки и все прочее в этом роде начисляется в зависимости от нагретого тепла. А так как зима была сухая, то решили нагнать это сейчас.

– А чего? План, – сказал Федор Мельников, бывший администратор. – Не сделал планового количества калорий – не получишь зарплату.

И так по всей России. Из года в год. Да что же это такое?

Да, немцы нас не разбили, а бюрократизм, может быть, и разобьет.

6. II.1975

Наконец-то четко вырисовываются 4 вещи о войне: 1. «Белая лошадь» (посвящение: «студентам-филологам – тем, кто не вернулся»). 2. «Разговор с самим собой». 3. О следователе («Кто он?» – Л. К.) и 4. О роли случайности, Провидения в войне (о себе). Это все – новый подход к военной теме... Главная мысль: какие уроки мы сделали из войны? Достойны ли памяти погибших? И потому это не только рассказ о войне, сколько о мире, о нас, выживших в войне. Вот это будет по-новому. Так к войне никто еще не подходил.

5. XI.1975

С утра работа: заметки к «Белой лошади». Главная мысль: какие уроки сделали мы из войны? Достойны ли памяти погибших? И потому это не столько рассказ о войне, сколько о мире, о нас, выживших в войне.

Вот это будет по-новому. Так к войне еще никто не подходил.

9. V.1975

Празднуй день Победы, вот что надо запомнить на всю жизнь:

1. Мы, вышедшие из ада войны, – великие счастливы, ибо судьба нам подарила 30 лет лишней жизни. А потому – радуйся, радуйся и с высоты этой радости смотри на все свои неудачи, огорчения. Иди победителем по жизни.

2. Будь мужествен, будь человеком, будь солдатом всю свою жизнь, и это лучшая твоя память о погибших.

27. IX.1975

И вдруг голос из 30-х годов – мягкий, украинский говорок. Семен Палабута. Все отбросил в сторону: приходите вечером в гости.

И вот посидели за столом, вспомнили 30-е годы, молодость...

У Палабуты раза три вскипали слезы на глазах, да и у меня, признаться, подступал комок к горлу.

Он все такой же добряк, этот Семен Палабута. Просто божий человек.

Разные были ребята в Карпогорах в 30-е годы. Но такого чистого, такого честного и незлобиво, такого по-хорошему услужливого не помню.

А уж его ли не катали, не молотили в 30-е годы! Лишенец, раскулаченный с юга, по всем спецпоселкам прошел, работа – где хуже, туда и его. А сколько унижений и оскорблений всяких претерпел!.. Гоняли, мытарил Палабуту, морозили на морозе, в Пинеге до самого ледостава заставляли с багром бродить, голодом, само собой, морили, на каждом шагу: гад, враг, не человек. А началась война – кого первым на фронт погнали? Семена Палабуту.

Воевал, пролил кровь за родину, после войны – половину жизни провел в госпиталях, на операционных столах. Казалось бы, зачерстветь, озвереть должен, возненавидеть всех и вся, а он – по-прежнему сама доброта, по-прежнему сердце его переполнено любовью к людям. И к советской власти – никакого счета.

Что это? Индивидуальная особенность или славянская доброта и всепрощение?

Семен Палабута – сила наша и сама красота, но он же и наше проклятие. Потому что они, Семены Палабуты, та питательная почва, на которой произрастают все злодеяния, совершавшиеся и совершающиеся на русской земле.

12. II.1978

Проблема из проблем: выполняем ли мы свой долг перед павшими? Они отдали жизнь, стояли насмерть, а мы? Не разжирили ли? Не переродились ли? Что делаем? Как себя ведем?

Увековечить ребят в мраморной доске надо. Но достаточно ли этого? Самый ли это главный памятник павшим?

Главный памятник павшим – это наши дела сегодня, наше поведение. Выдержали ли мы экзамен? И не тяжелее ли выдержать проверку жизнью (долгой), чем проверку войной?

9. V.1978

Лучший день Победы за все 33 года. Отчего? Выспался хорошо (5 минут 12-го встал) или еще какая причина?

Завтрак в номере вдвоем (домашность в сочетании с зеленым великолепием за окном), дивна прогулка по заливу.

25. XI.1978

С утра писал заметку для «Ленинградского университета» о погибших на войне. Нельзя отказываться: святое дело!

5. V.1979

«Великая Отечественная», телефильм в двух сериях. Фильм 1-й – 22 июня 1941 года. Тенденциозное, «кремлевское» объяснение войны, но фильм потрясает.

Снова и снова поражает: откуда только у русского народа взялись силы?

Но вот извечная трагедия Руси: внешних врагов победили, а своих... А свои победили ее.

Полная бесперспективность. Ни единого союзника. Все ненавидят Россию. И, в общем-то, есть за что. Сама не умеет жить и другим не дает.

Конечно, конечно, виноваты, в первую очередь, вожди. Но расплачиваться-то придется народу. И что, что ожидает его, несчастного?

26. XII.19 79

Боже мой, как мы только выстояли в войну! Где нашли силы? Читаю «Б. террор». Ведь *наш* вождь и учитель накануне войны вырубил все жизнеспособное и мыслящее в стране. И вот нашел народ в себе силы. Породил и полководцев и начальников производства. «Людей добрых больше на свете», – сказала на днях Люсе какая-то пожилая женщина. И это воистину так.

Так будем же помнить это! Будем всегда и все делать во имя победы добра...

8. V.1980. (Из записной книжки)

Наши потери в войне. Сколько? 20 млн, как говорят сейчас?

Не меньше 40 <...>

В Верколе убито 128 человек. Примерно 1/4 населения. И так везде и всюду. Да плюс к этому Ленинград да оккупированные земли.

9. V.1980

Всю ночь лил дождь – природа оплакивала погибших. А утром выглянуло солнышко – природа солнышком улыбается погибшим.

35 лет Победы. Каковы итоги? В магазинах шаром покати – ничегошеньки. <...>

В народе шутят: что есть праздничного? Газеты.

Да, год от года все хуже и хуже. <...>

Знают ли об этом наверху?

А что им знать? У них свой, особый мир. У них все есть. Народу плохо? Народ быдло. А русский народ вдвойне: все простит. Знают, знают там эту присказку: все вытерпим, все перенесем, лишь бы войны не было.

О, бараны бестолковые. Именно потому-то и будет война, что вы все терпите.

## Новгородчина

### 10. II.1981 (Из записной книжки)

Потери в войне.

До войны население 1 млн 121 тыс. 728 на 1.I.1941 на 1.I.1946 – 692 тыс. Сейчас – 712 тыс. Каждый второй житель Новгородчины – погиб.

5. V. 1981. (Из записной книжки)

Мать-Родина на Пискаревском кладбище.

Грудастая, закормленная бабища! Да камень бы должен был зарыдать (разлиться слезами), а она с венком цветов. Да разве цветы, венки славы нужны пискаревцам, жертвам блокады! Слезы, сострадание. Да самая злая мачеха такой равнодушной не может быть.

Мать-Родина с мечом – какое отношение имеет она к русской женщине-матери и вообще к матери. К украинке. Это в лучшем случае калька с французского.

То же – могила неизвестного солдата.

Каменная баба – вопреки воле украинцев поставленная на украинской земле и кощунственно названная матерью-родиной!

Да она хуже злой мачехи для украинцев!

28. XI.1981

Вдруг вспомнил: в этот день 40 лет назад меня ранило. Второй раз. Боже, как давно это было и как недавно!

А остался ли кто в живых из тех, кто был тогда со мною? Мика, Левин? Но они ко времени моего второго ранения с войной уже рассчитались. Ни одного, ни одного знакомого не было со мною, когда меня ранило второй раз.

41 год после войны. А мертвые все еще не подсчитаны. Да и подсчитают ли когда-нибудь?

А ведь подсчитать нетрудно. У нас в Верколе убито 128 человек, а жителей перед войной было человек 700. Значит – 1/4.

И такую же цифру называют выходцы из других деревень.

40 млн убитых на войне. Вот самый великий памятник социализму.

3. III.1982

Федор Абрамов – инвалид Отечественной войны! Да, сегодня с утра прошел ВТЭК и без всяких-всяких – справку в зубы. «Бессрочно» и «переобследованию не подлежит»...

Меня, между прочим, спросили:

– Почему вы раньше инвалидность не оформляли?

– По моральным соображениям. Нехорошо называться инвалидом (одним и тем же именем), когда у тебя обе ноги, а у других – протезы.

22. VI.1982

Какой сегодня день, какие события произошли в этот день 41 год тому назад! А как я отметил его? В суете, в беготне – квартира, ателье, издательство, магазин, больница, СП...

О, позор! О, срам...

Вот наша память о наших погибших сверстниках.

Но две вещи заслуживают быть отмеченными в этот день:

1) появился сигнал 3-го тома сочинений.

2) «Наш современник» принял очерк о Яшине (очень понравился Викулову).

4. IX.1982

Только что написал завещание. А что делать? Жизнь есть жизнь, и надо быть ко всему готовым.

Многочисленные исследования в институте пульманологии (в течение целых 5 дней) не дали окончательного ответа. Рак исключается лишь на 90 %, а на 10 %... Короче, все врачи в один голос: надо ложиться под нож.

И вот во вторник уже операция.

Я спокоен, можно сказать, совершенно спокоен. Чему быть – тому быть. До сих пор меня выручала Судьба, может быть, не отвернется от меня и сейчас. Ну, а если отвернется... Пожил. И не мало пожил: ведь мои товарищи погибли еще в 41 году.

Господи, сорок лет нет Сокольского, Рогинского, Феди Яковлева, а никто так не помогает мне жить, как они. И как знать, может быть, память о погибших – главная духовная опора людей всех поколений во все времена.

9. V.1983

День Победы. А я в больнице.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ АБРАМОВЕ

### Страница незабываемой молодости

*Т. Голованова*

Мы были поначалу с Федей Абрамовым всего лишь «однокашники»: в 1938 году вместе поступали на филологический факультет Ленинградского университета, на русское отделение. Но учились в разных группах, групп было много – восемь, и, конечно, не все сразу узнали друг друга. Встречались мы только на общекурсовых лекциях в большом зале – слушали, например, всем потоком курс А. С. Орлова по древнерусской литературе, П. Н. Беркова и Г. А. Гуковского – литературе XVIII века, русский фольклор – М. К. Азадовского, введение в языкознание – А. П. Рифтина и другие.

Незабываемые это все были впечатления. И лица слушавших запоминались лучше всего именно тогда, на лекциях: кто где сидел, как слушал. Вот так я запомнила впервые лицо Феде Абрамова и всю его некрупную, собранную фигуру. Он сидел почти всегда на одних и тех же местах, где-то за первым столом аудитории, и внимание, с каким он слушал лектора, отмечалось особой напряженностью.

Поражались более или менее все, да и было чему: мы были слушателями и учениками блестящей плеяды университетских профессоров, которые, что и говорить, умели ввести в свой храм так, что только сердца бились и рты раскрывались. Но на этом общем фоне потрясенной аудитории Федя меня интересовал тем, что он не просто слушал – он работал. Как видно, он умел и любил работать уже тогда. Лицо его редко теряло выражение мрачноватой сосредоточенности. Темные умные глаза горели внутренним огнем, вспыхивая живым блеском интереса, но чувствовалось, что он был один в этом открываемом им мире, отчужден от всех и погружен в себя...

Теперь это легко понять. Никто из нас даже представить себе не мог, из какого сурового края земли приезжал этот паренек учиться и что он успел пережить по сравнению с нами. Но тогда это было мало кому известно, и непонятная отчужденность немного отпугивала еще очень юных однокурсников. Учился Федя прекрасно – я бы назвала это словом «ответственно», ну, или «особо серьезно»: успевал много читать и как-то по-своему обдумывать прочитанное. Конечно, он вошел сразу и в общественную жизнь университета, и здесь он был, при всей своей скромности, как-то неуловимо веселее, авторитетнее нас. Все же он нас очень интересовал, и мы не раз делали попытку сойтись с ним поближе.

\* \* \*

Наша группа, так называемая пятая русская (Федя учился в восьмой), была относительно однородная и дружная. В ней преобладали ленинградцы. Ребята подобрались на редкость интересные. Творческое начало в области литературных поэтических и театральных увлечений определилось у многих очень рано. Это проявлялось со всей очевидностью на обычных практических занятиях по разным предметам. Например, на уроках латинского языка (вела их с большим вдохновением молодая преподавательница А. Служалова). Простые словарные упражнения превращались нередко в образные «действия»: разыгрывались вереницы трудных слов, из которых составлялись диалоги, речи, сценки. Словарный запас играючи обогащался – то на «аукционах» синонимов, рифм, имен, то в словесных дуэлях и судах.



Любовь к живому слову, к словотворческим истокам языка, к образному мышлению всемерно поощрялась всеми преподавателями и прежде всего А. П. Рифтиным. Каждая его лекция по «скучному», казалось бы, курсу («Введение в языкознание») неизменно кончалась аплодисментами. (Рифтин протестовал: «Я же не балерина», но эмоции били через край.)

Нетрудно себе представить, как блестящи были и как развивали именно образованное мышление, а также литературный вкус практические занятия по теории литературы, которые вел с первого курса Г. А. Гуковский. Вот где получала активный творческий импульс молодая аудитория будущих филологов: занятия строились как свободный обмен мнениями, выявлявшими художественный «резерв» каждого из нас: мы читали (а предпочтительнее – произносили) «Слово о любимом писателе». И тут же в активном обсуждении этого «слова» приоткрывались тайны «художественной магии» писателя. Сколько писателей – столько магий. Сюжет, литературные виды и жанры, мир героев, любая другая тема – все шло, конечно, по плану, но в памяти это сохранялось как вспышки каких-то неожиданных откровений, импровизаций. Помню почему-то один из предложенных сюжетов: человек, выбросившийся из окна, за несколько секунд падения «прокрутил» в сознании всю свою жизнь – и захватывающую, но трагическую импровизацию на эту тему студента Лени Сокольского (он погиб в первые месяцы войны на Ленинградском фронте). А вот другой рассказ (порадивший уже потом, при воспоминании, своей провидческой правдой): студент Сеня Рогинский штрих за штрихом набрасывает на мысленном экране изображение руки. Тема занятия – метафора. Рука сначала появляется где-то в углу, внизу – нормальная, даже утонченная рука, возможно, художника или аристократа, потом она на глазах чернеет, движется по экрану вверх, растет, все собой занимая, скрючивается в хватательном движении – берегись, все живое! Теперь это ассоциируется с каким-то из антифашистских плакатов Пророкова, появившихся во время войны, но и тогда это было воистину пророческое видение, образ набиравшего силу фашизма. Его жертвой стал вскоре и сам Сеня – но об этом позже. Вот так, с первого курса, на занятиях развивались фантазия, ассоциативное мышление и четкость умозаключений, направляемые опытными преподавателями Ленинградского университета 30-х годов.

Я говорю все это для того, чтобы легче было представить себе атмосферу, которой дышали студенты с первых своих дней в университете, – атмосферу, в которой формировались будущие деятели культуры «нашего слоя». Нам есть кем гордиться, и можно назвать много замечательных имен, но сегодня мы вспоминаем в первую очередь Ф. Абрамова, ставшего выдающимся русским писателем.

Пятая группа была заметная, как я уже упоминала, такими талантливыми фигурами, как С. Рогинский; ко всему – он был чтец, обладавший прекрасным, глубоким басом и весьма индивидуальной манерой чтения. На наших университетских вечерах он читал лирику Пушкина, поэму «Медный всадник», рассказ Джека Лондона «Мексиканец», собирая полный зал слушателей. Читал он и на радио. Сохранилось несколько почти самодельных пластинок с записью его голоса, сделанной в студии Сладкопевцева, где занимались одаренные любители звучащего слова.

Был у нас в группе и второй чтец, ныне широко известный артист Яков Смоленский, заслуженный деятель искусств, профессор, заведующий кафедрой художественного слова в Московском театральном институте. (Он тоже был тяжело ранен на Ленинградском фронте, кстати, одним снарядом с Л. Сокольским: наши ребята и там шли плечо к плечу.)

Интерес к поэтическому и сценическому слову захватил и девушек. Машенька Минина (ныне М. А. Черняк) вечерами занималась в драматическом кружке, которым руководил П. Ф. Монахов, брат известного артиста, и сам артист. Она успешно участвовала в городских конкурсах чтецов и действительно была очень обаятельна в образе мятущейся Татьяны, пишущей письмо Онегину, а позднее – в образе Ларисы в «Бесприданнице». После войны она преподавала литературу в вузах Киева, и ее артистизм как нельзя более пригодился на этом поприще.

И еще одна яркая литературная судьба истоками связана все с той же пятой группой. Речь идет о подруге М. Мининой – Люсе Крутиковой. Их постоянно видели вместе – в коридорах филфака, на лекциях, в театре. Да они и были чем-то похожи друг на друга: обе очень милые, серьезные, отлично учились. Л. Крутикова стала после войны женой Федора Абрамова и его верной, беззаветной помощницей в литературных делах до конца дней. Но и сама Людмила Владимировна имеет известное литературное имя: защитив диссертацию, она много лет преподавала в стенах родного филфака, специализируясь на творчестве И. А. Бунина. Много сделано ею было для нового «открытия» этого замечательного русского писателя – каждая статья пробивалась с боем, каждая содержала смелую мысль, свежий взгляд. Вот где отозвались лучшие традиции наших учителей!

Нас – весь курс – окружала в конце 30-х годов незаурядная молодежь, и не всегда только университетская. Часто мы собирались у меня дома – я жила тогда с родителями на улице Восстания, в большой квартире большого дома. Мать и отец были людьми занятыми, уходили рано, приходили поздно (отец – один из ведущих инженеров Гидропроекта, разрабатывавших тогда систему «Большой Волги» под руководством С. Я. Жука, имя которого носит сейчас этот институт; мать работала во Дворце пионеров, в отделе художественного воспитания детей), – словом, мы были вполне предоставлены самим себе и не теряли времени даром, устраивая то «литературные утра», то «литературные вечера». Кто только у нас не бывал! Прежде всего хочется назвать Бориса Смоленского – поэта, учившегося в Институте водного транспорта, и не случайно: романтика дальних плаваний в стихах, весь его «капитанский» облик: форменная тужурка, трубка в зубах, даже походка слегка вразвалку – все это говорило, что готовил он себя для морских горизонтов. Человек высокоодаренный и образованный, он был чуть моложе меня и других моих сверстников, но на голову выше нас по широте и «взрослости» интересов (сохраняя при этом и некоторую долю детской наивности). Мой младший брат Кирилл смотрел ему в рот и в основном под его влиянием ушел после седьмого класса в военно-морскую спецшколу, затем в высшее училище и после войны стал писателем-маринистом.

Только теперь, перечитывая певучие стихи, поэмы и письма Бориса Смоленского, понимаешь, как верно он отразил суть и пафос «возрожденческих» 30-х годов, несмотря на то что был не только героем, но и жертвой своего времени (его отец, известный журналист М. Смоленский, был репрессирован, и сыну нелегко было попасть в институт, устроиться на работу и даже уйти на фронт, когда началась война). Как и все мы, Борис ощущал неотвратимость и жестокость грядущей войны с нацизмом. Его поэма «Кабан» (метафора охоты на дикого кабана) уже тогда, в 1939 году, переворачивала души. Сочетание острого, трагического восприятия «гулов истории» с чистым чувством веры в торжество светлых начал жизни – вот что привлекало и покоряло больше всего в его поэзии. Он был влюблен в девушку из нашей группы Любу Трофимову, посвящал ей многие свои стихи. А когда Люба уехала в Москву, поступила на Высшие курсы переводчиков при ЦК ВКП(б) (ныне Л. М. Видясова, после нескольких лет дипломатической службы, заведует отделом журнала «Международная жизнь»), Борис стал часто бывать в Москве, где дружил с П. Антокольским, Б. Грибановым, П. Коганом и многими другими представителями литературной Москвы. Естественно, что, возвращаясь в Ленинград, он одарял нас свежей информацией, новыми впечатлениями и новыми стихами или песнями (это он привез в Ленинград популярную ныне песню «Бригантина», написанную П. Коганом).

Сейчас понемногу стали издаваться стихи Б. Смоленского. Погиб Борис в ноябре 1941 года на Карельском перешейке, защищая подступы к Ленинграду.

Еще одной оригинальной фигурой, посещавшей наши вечера, был кореец Петя Ли. Что и когда привело в Ленинград его многолюдную семью, я уже не помню, знаю только, что жили они в большой тесноте и материальной стесненности. Петя был основным кормильцем – рисовал, подрабатывал в газетах, организовал очень талантливый театр теней. И тоже выступал как чтец: он был лауреатом юбилейного конкурса 1937 года на лучшее исполнение стихов Пуш-

кина. Петя тоже ушел на фронт в начале войны и погиб на барже, подвергшейся бомбардировке на Ладожском озере, вместе с сестрой-радишкой.

Был (правда, редким) посетителем наших собраний чудаковатый поэт Александр Ривин, где-то на производстве потерявший кисть руки. Он вел полубродячий и полуголодный образ жизни, всегда неожиданно являлся в дом и, прежде всего попросив «тимак» и «булки», садился на пол и начинал читать стихи. Стихи были порой сильные, но много в них было выверта и юродства.

Вспоминаются, например, такие строки:

Сердце плавает в тарелке с кровью —  
Теплый суп, попробуй пей.  
Я люблю тебя такой любовью,  
Которая теплее всех супей...

\* \* \*

Вот в такую обстановку попадал, таких людей встречал у меня Федя Абрамов, несколько раз приходивший по нашему приглашению. Помню, все вместе встречали мы новый, 1940 год. Надо отметить, что чувствовал он себя в этой компании не очень уютно. Его ранний жизненный опыт и внутренний мир, сформировавшийся в условиях прекрасной, хоть и многострадальной северной деревни, всем существом своим противостоял укладу и быту – в том числе литературному быту – городской, отчасти богемной среды, благополучию и веселой жизни молодежи, о которой я рассказала.

Между тем литературные интересы, уже тогда определившиеся у Феде, влекли его к талантливым сверстникам, любопытство и любознательность – к миру их увлечений. Как сейчас помню его чаще всего молчаливое присутствие на наших чтениях, иногда – меткие, с ехидцей, реплики, возвращавшие на грешную землю не в меру воспаривших романтиков. Его слушали. С ним всегда считались. Он уже тогда воспринимался значительной, самобытной личностью, хоть и не знали мы ничего о его творческих устремлениях. Его любили, но близко к себе он не подпускал.

Много позже, уже при встречах после войны, Федя, как говорится, писатель божьей милостью, не без горечи вспоминал:

«Я ведь и тогда был такой... Вы меня не видели, вы были – элита».

\* \* \*

Свела нас ближе война, ее первые же грозные месяцы. Мы – тогда уже студенты третьего курса – кто как мог включались в общий, напряженный ритм жизни ленинградцев, готовившихся к обороне своего города от стремительно наступавших сил противника. Все наши мальчишки сразу же ушли в добровольческие отряды – большинство в 277-й отдельный студенческий батальон, сформированный университетом. Расположился он поначалу под Красным Селом. Мы, как это ни странно, принимали участие в его экипировке – шили какие-то мешки, рукавицы и даже стеганую и матерчатую обувь, поскольку приближалась осень, а у ребят неважно обстояло дело с обмундированием (да, кстати, и с вооружением: многие были снабжены одними ручными гранатами).

Потом и мы уехали – под Пудость, рыть противотанковые рвыэскарпы. Уходили оттуда уже в августе, вместе с отступавшими войсками. Кругом горели деревни, над Елизаветином шли яростные воздушные бои... Больше всего запомнились дети: небольшими, рассеянными

группками они шли по дорогам, возвращаясь из-под Луги, куда кто-то зачем-то эвакуировал детские сады.

Едва вернувшись в город, мы ринулись в сторону Красного Села, чтобы навестить наших ребят, пока еще это было возможно. Ехали долго, на попутных машинах, с Арочкой М., женой Юры Левина. С большим трудом нашли их расположение, и первый, кто нас встретил – радостно, сердечно, – был Федя Абрамов, неузнаваемый, осунувшийся, какой-то трогательно юный (совсем такой же он на фотографии 1942 г., воспроизведенной в недавно вышедшей книге его публицистики «Чем живем-кормимся», Л., 1986). Федя и привел к нам Юру и Сеню Рогинского. Вскоре собрались и другие товарищи – ведь это был привет из родного дома, из недавней – и такой уже далекой – мирной жизни. Мм уселись на Федину, гостеприимно брошенную на землю шинель, перекусили кое-какой домашней снедью, привезенной из оскудевшего уже на еду города. Встреча оказалась действительно последней возможностью увидеться перед роковыми событиями сентября. А с некоторыми и совсем больше не увиделись.

Батальон ушел дальше, за Старый Петергоф, в сторону Ропши, охранять минные поля. Помню, я получила оттуда открытку, очень меня потрясшую: в ней говорилось о первом бомбовом ударе по Ленинграду, по Бадаевским складам (8 сентября). Только что узнав об этом, ребята писали, как рождалась в них потребность возмездия... Еще вчера не представлявшие, как можно поднять руку на человека, сегодня они почувствовали, что смогут убивать, безжалостно стрелять в лицо врага, прущего на их дом. Какую сложную психологическую перестройку отразили эти простые слова, теперь кажущиеся привычными и естественными.

В двадцатых числах сентября батальон вступил в кровопролитные бои. 24 сентября днем был убит Семен Рогинский, многих бойцов спасший, переводя их по заминированной местности. К вечеру этого дня были ранены Ф. Абрамов, М. Каган, Ю. Левин и многие другие. Сообщили об этом раненые, попавшие в ленинградский госпиталь.

С сентября я работала в эвакуогоспитале № 1014, размещенном в зданиях Педагогического института им. Герцена, на Мойке. Госпиталь был тесно связан с городским распределителем – через него я и узнала, какая беда стряслась под Старым Петергофом...

А теперь начну с конца: на одном из собраний в Доме литераторов имени Маяковского Федя Абрамов передал мне записку:

### **Тата!**

У меня к тебе предложение – встретиться 10-го.

Лучше у тебя, потому что у тебя больше Рогинского и других наших ребят, а они в эти дни должны быть с нами. Обязательно с нами!

Привет Лене, низкий привет Мусику<sup>2</sup>.

Твой Ф.

23/IV–1975 г.

Незачем говорить, как обрадовало меня такое предложение – отметить в домашней обстановке 30-летие со дня Победы (а заодно и мой день рождения – 10 мая, о котором Федя, оказывается, помнил еще с тех, юношеских времен). Дома у меня действительно сохранились кое-какие письма от общих товарищей, а главное – пластинки с записью голоса Семена Рогинского.

Сказать, что встреча прошла хорошо, нельзя: это значит ничего не сказать. Такие встречи зарубкой остаются в памяти и сердце. Всех вспомнили, помолодели как-то и сами. Федя был в одном из самых своих щедрых на душевное тепло настроений. Тут я впервые услышала от него историю белой лошади. Это – один из эпизодов в страшные дни сентябрьского отступления

---

<sup>2</sup> Речь идет о дочери и матери.

разбитого студенческого батальона с ропшинских минных полей. Под навесным артиллерийским огнем падали и падали мальчики. Рвались снаряды, рвались мины, взрыта была и усеяна трупами вся земля. И вдруг в какую-то паузу – непонятное, почти неосознанное просветление: мы увидели, что на одной чудом уцелевшей опушке, посреди всего этого ада, появилась белая лошадь. Она была так неправдоподобно красива, так неправдоподобна вообще в той трагической обстановке, что первое побуждение было – броситься ей на помощь, куда-то ее увести, спасти, сохранить это прекрасное живое существо. Сенька сделал первое движение ей навстречу – его едва удержали. «Да, была, была в нашей жизни белая лошадь, – добавил Федя задумчиво. – Я обязательно напишу рассказ, который так и назову – “Белая лошадь”».

Он не успел осуществить свое намерение, тема была для него не простой, в ней завязывались узелком несколько неразрешенных, недодуманных вопросов. Почему городской мальчик Сеня, которому легко все давалось, который почти не знал тяжелого физического труда и не хватил через край соленого лиха, – почему он, он смог оказаться в нужную минуту храбрым, сильным и умудрился сохранить в крошечном аду войны лучшие движения души? Для Феи это были далеко не риторические вопросы: он много думал и писал в эти годы о нравственных вопросах – о бесстрашии вообще и о бесстрашии в искании истины, о живой природе вообще – и о том, что делать, как жить, чтобы красота не пропала...

Рассказ остался недописанным, но над столом у меня висит картинка, на которой изображена одинокая белая лошадь, пасущаяся на каменистом лугу. Ее прислал мне издалека – и совсем по другому поводу – друг, тоже писатель, много увидевший за любимым образом. Я часто смотрю на этот немеркнувший символ вечной красоты и думаю о своих друзьях...

\* \* \*

Наши послевоенные встречи с Федей Абрамовым не были частыми. Он кончал университет, потом работал там же: заведовал кафедрой советской литературы. И начал писать обо всем, что терзало его со времен довоенной и военной молодости. С каждым годом мужала гражданственность его писательской позиции, ширился кругозор. Он был очень занят: много и часто ездил на родной Север, по всей стране, за рубеж. И писал, писал... Первый роман «Братья и сестры» перерастал в дилогию, трилогию, тетralогию, охватывая современность, самые ее насущные проблемы. Я работала в Пушкинском Доме и тоже была много занята. Но все же время от времени я к ним забегала – и к Феде, и к Люсе – сначала на Университетскую набережную, потом на 3-ю линию Васильевского острова – переброситься хоть несколькими словами, поделиться наболевшим, посоветоваться о литературных делах. Так, моей работе над комментарием стихов Ольги Берггольц предшествовало несколько бесед с Федей – он ее хорошо знал и как поэта, и как человека.

О наших дружеских отношениях, оставшихся очень сердечными со времен юности, напоминает одна сохранившаяся Феина записка:

### **Тамара милая!**

Что же не заехала, не позвонила? А мы так ждали тебя... Бога ради, не торопись с уходом. Не наделай глупостей – ведь теперь так трудно найти филологическую работу. Все взвесь, все обдумай и не рассчитывай на чудеса.

А может быть, ты все-таки заглянешь к нам или позвонишь?

Привет маме и Лене.

Твой Ф. Абрамов.

28/XI-69 г.

Я, конечно, послушалась Фединога совета и благополучно проработала в Пушкинском Доме более тридцати лет. Но дело не в одном этом случае проявления его товарищеской заботливости.

Федю знают и помнят всяким. Он и был всяким. Я видела его очень суровым, с горящими гневом глазами, когда он сражался, именно сражался с бюрократами, много принесшими горя его жене Люсе, расплачивавшейся всего лишь за то, что война застала ее на занятой немцами территории Украины, с маленьким ребенком на руках (которого так и не удалось сохранить). Проблемой было все – и возвращение в Ленинград, и устройство на работу, и налаживание нормального быта...

Помню стоическое поведение Абрамова, когда много лет его не печатали после остро критического очерка «Вокруг да около».

Правоту автора полностью подтвердила сама жизнь.

Помню многие публичные выступления Абрамова в Союзе писателей – всегда бескомпромиссные, принципиальные, грубовато-прямые. Сама манера таких его задиристых выступлений – слова, голос, интонации – до сих пор на слуху. О чем бы он ни говорил – о приспособленцах, «лакировщиках», или о людях равнодушных, или о прожектерах, мечтающих повернуть реки вспять, – начинал он свою речь подчеркнуто спокойно, размеренно, вполне «литературно», но постепенно распялялся, голос набирал силу, фраза раскалывалась на междометия, – и смелая, острая мысль, выраженная уже в самой что ни на есть разговорной форме, на высоких тонах, с бурными жестами, убеждала правдой чувств, искренностью, человечностью.

С некоторыми людьми, которых Федя не любил, он бывал резок, легко вспыхивал, обрывал собеседника – или замыкался, становился неразговорчив, сумрачен...

Но чаще всего он мне вспоминается совсем другим – мягким, теплым, лиричным, каким, возможно, не все его и знают: ведь он был, ко всему прочему, еще и застенчив, раскрывался далеко не всегда. Умела как-то приводить его в такое состояние моя мать Ираида Еферьевна (или Мусик, Мусенька, как называли ее иногда близкие, в том числе Федя). Была она родом из уральских кержаков, много повидала на своем веку и любила об этом рассказывать колоритным, сочным языком: и как она, еще почти девочка, чуть не всю Сибирь объехала верхом, сопровождая молодого мужа-гидролога в его изыскательских экспедициях; и как натолкнулись однажды в глухом углу, обойденном самой историей, на... заседание боярской Думы; и как удирали от банд, от медведей; как встретились однажды в теплушке с самим Шульгиным. Да мало ли интересного видела она на своем большом жизненном пути! Федя любил слушать эти рассказы и не раз забегал к нам, когда мы жили в крохотной квартире на улице Рашетова. Мама сооружала обычно свое «фирменное» блюдо – настоящие уральские пельмени. Сидим за столом, беседуем, а то слушаем старинную музыку в исполнении капеллы Юрлова (очень мы тогда увлекались этой пластинкой) или Бортнянского в хороших записях. Вот тогда Федя и был таким, каким я его люблю вспоминать: с посветлевшим лицом, притихший. Выйдет на балкон и молчит, любуется розовеющими соснами Сосновки на закатном солнце...

## Одна зима

*В. Гапова*

На старинном университетском здании исторического факультета, что на Васильевском острове, мемориальной доски не оказалось. Но где же она? Ведь ей тут положено быть, ей тут даже необходимо быть... Наверное, еще не успели, не догадались? Я ждала чуда, я шла далеко – на встречу со «свирепо-великим годом», с жестокой молодостью, с Федором Абрамовым.

В ранних зимних сумерках мне виделось мерцание золотистых букв, будоражащей надписи для потомков: «В этом здании в эвакогоспитале 1012 находился 15 декабря 1941 – 17 февраля 1942 года Федор Абрамов».

Ему, подлинно народному писателю, суждено остаться среди нас, живущих, и тех, кто придет позже. Его звездный час начинался с первых дней героической обороны Ленинграда. А главное – первой блокадной зимы, обледенелой, обескровившей город, но город, вставший насмерть перед врагом.

О том времени, когда сражающийся город-крепость одновременно «стал колоссальным лазаретом» и даже в аудиториях университета был создан госпиталь, давно издана небольшим тиражом незатейливая, достоверная книга «Записки военного врача» Ф. Грачева. Не остался обойденным наш «университетский», как мы его называли, эвакогоспиталь 1012. К сожалению, в книге нет главы о тогда еще неизвестном раненом солдате Федоре Абрамове.

Город в блокаде, но не в плену, хотя с 29 августа полностью отрезана железная дорога: через разрушенную станцию Мга проскочило два последних эвакопоезда, и на этом все – связь со страной прекратилась. К напряженному пульсу города прислушивалась по радио Большая земля. А с ленинградских рубежей битвы непрерывно поступали раненые, позже – вместе с обмороженными. С Пулковских высот и «Невского пятачка», с Синявинских болот, из-под Тихвина, с Волховского направления – в окровавленных валенках, вмерзших в раны, иногда с гнилым месивом вместо ног.

В самом конце лета по решению Военного Совета фронта началось срочное создание в самом городе сети военных госпиталей. Их развертывали в школах, в общественных зданиях, в лечебных учреждениях. Массивное здание исторического факультета, бывшего Гостиного Двора, построенного еще в начале XIX века, как раз подошло для этой цели. Обширное, прямоугольное, с пологими боковыми лестницами и просторным вестибюлем, с прочным подвалом. В довоенное время здесь размещалось четыре факультета – исторический, географический, философский, экономический, да еще в правом крыле первого этажа – университетская поликлиника. Огромный госпиталь создавали врачи, медсестры, санитарки, преподаватели и студентки университета, работники библиотеки, домохозяйки и освобожденные по возрасту от демобилизации мужчины. Но прежде всего – ленинградские женщины. Проводив мужчин на передний край, они шли на заводы к станкам, на рытье оборонительных укреплений, на заготовку дров и торфоразработки, в отряды воздушной обороны, на обслуживание госпиталей и больниц, на раскопку разрушенных бомбежкой зданий, на уборку снега и чистку улиц.

От осажденного Ленинграда до самого Полярного круга, от Москвы до Владивостока «русская баба, – как вырвалось из души Федора Абрамова, – своей нечеловеческой работой открывала второй фронт. Она открыла его гораздо раньше, чем наши союзники».

Абрамов всегда казался мне суровым. Свое выстраданное постижение народной истории и народного подвига начиналось у него гораздо раньше, чем он стал писателем, – еще до возвращения на поправку в родную Верколу, в те «железные ночи» и дни Ленинграда. Оно откладывалось в его сознании, обрастало опытом войны и основательного знания русской деревни.

Я возвращалась в прошлое, хотя давным-давно запретила себе, своей памяти жить горечью блокады. Но иногда обстоятельства решительно врываются в частную жизнь, и настал момент, когда я оказалась с тяжелой ношей нравственного долга перед ушедшими.

Если судьба подарила мне столько лет жизни после блокады, то я должна рассказать об одном из тех, кто пролитой кровью помогал городу возродиться к новой жизни.

Совсем неожиданно мне пришла из Ленинграда бандероль. Надпись на книге ударила в сердце: «Вале Гаповой на память о дорогах войны. *Ф. Абрамов. 29.IV.1979*». Это были его повести – «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», «Безотцовщина», «Вокруг да около», «Жила-была семужка», впервые изданные отдельной книгой в его любимом городе. Вот и пришлось вернуться к началу этих дорог, по которым шло, падало и снова поднималось мое – наше поколение.

Летом того же года в Минск на гастроли был приглашен Московский театр драмы и комедии на Таганке. Штурмом брала «ветеранская очередь» билеты на «Гамлета» с Владимиром Высоцким в заглавной роли, джинсовая молодежь стойко ночевала у билетных касс – июль был жаркий. На представление «Деревянных коней» я попала только с помощью администратора театра. Сидим вдвоем с дочерью, наслаждаемся талантливой игрой актрисы Аллы Демидовой в роли Милентьевны. Дома я снова перечитывала его задушевную повесть, явственно услышав густой абрамовский голос: «Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани».

Законами добра соизмерять жизнь свою и чужую – что может быть выше и проще! Эта мудрая всеильная вера в добро помогла понять высоту его нравственного идеала, истоки которого – в извечных народных устоях. Добро, добрый человек – это сила народа, а следовательно, делая добро, естественно устранять зло – вот что скрывалось за суровым обликом Федора Абрамова, человека, который в детстве познал крестьянский труд, был солдатом и честно смотрел в лицо Победе, потом учился, защищал диссертацию, преподавал в университете и заведовал кафедрой – и вдруг решительно оставил все для единственной цели: «Научиться отдавать – это большая радость. В литературу должны идти те, кто хочет служить людям». И снова он четверть века «пахал» (его любимое словечко), уйдя в самоотверженный художественный поиск, написал талантливые книги о трудных путях перепутьях крестьянства, о месте и назначении человека на земле, о судьбе родной страны.

Так, спустя более сорока лет я начала в самые морозы, напомнившие первую военную зиму, разыскивать в Ленинграде блокадные документы о нем. Одиннадцатого января в Архиве военно-медицинских документов Министерства обороны СССР я заполнила анкету с запросом его истории болезни в блокадном госпитале.

Начальник архива полковник Г. С. Ткач, образованный медик, по-ленинградски интеллигентный, сообщил, что поиск затруднителен: в архиве около 22 миллионов документов военной поры – да приходят тысячи писем раненых и ветеранов и сами они приезжают за справками: «Ведется большая работа, возможно, придется сообщить Вам письменно». Такой оборот дела меня не устраивал, я знала, как захлестывают волны времени. Но, очевидно, мне хотели помочь – ленинградцы, дорогие мои!

15 января в том же архиве меня ожидали огорчения и радости. Секретарь Галя, милостивая молодая женщина, сопровождавшая меня в кабинет начальника, сказала, что нашла «купоны». Какие купоны?

Приветливо принял начальник: «Должен вас огорчить, истории болезни не оказалось. Очевидно, она была отправлена вместе с ним в тыл. Вы его сопровождали?» – Нет, только до выхода из госпиталя... А дальше все было ошеломляющим: «Есть вот это... – Элегантный Ткач протянул мне пять невзрачных голубовато-серых плотных листков. – Карточки учета. В



сущности, они вполне заменят историю болезни, там вы больше не найдете». Листки у меня в руках! От волнения не могу найти ручку в своей сумочке, начальник подает мне свою. Все, копии сняты!

С архивом мне повезло, остались следы человеческой жизни...

Первая «карточка учета» дымится вздыбленной землей сентябрьских сражений, когда враг перешел к штурму города. В районе Колпина, Пушкина, Павловска и Пулковских высот, где пролегал передний край обороны Ленинграда, создавался прочный заслон против врага. Фашистский штурм был отражен. Враг вынужден был переходить к обороне. На этом «рубеже жизни» вместе с ленинградцами Абрамов взял на свои мальчишеские плечи ответственность за судьбу города. В этих боях 24 сентября он получил первое ранение.

Но лучше обратимся к неповторимому языку документа:

«Карточка учета

поступивших в лечебное учреждение

**Ф. И. О.** Абрамов Федор Александрович, 1920 года рождения.

Архангельская обл. Карпогорский р-н, село Веркола

Военное звание: красноармеец, доброволец

Какой части: 277 особый Б

Поступил в: ЭГ 1170 25/IX–1941

Из: Ижорский военно-морской госпиталь

Помещен в: В. О. 19 линия, д. 20 27/IX

Диагноз, с которым поступил: ранен 24/IX–1941 г. Сквоз. ранение левого предплечья с повреждением кости»<sup>3</sup>.

Красноармеец-доброволец с архангельской земли ранен на огневом рубеже. Все правильно, и все предельно лаконично, неполно. Он – студент, окончивший три курса филологического факультета Ленинградского университета. Двадцать лет – прекрасный возраст, когда вся жизнь впереди и она кажется бесконечной. А стихия смерти гналась за ним по пятам, второй раз она заглянула ему в самые зрачки. С промежутком в два месяца он получил 28 ноября второе ранение. Тяжелейшее! В «учетной карточке» отражено опасное состояние раненого, она начинается прямо сверху адресом и указанием имени матери (отец рано умер). Крестьянке Степаниде было бы послано сообщение в случае летального исхода ее сына – солдата:

«Архангельск, обл. Карпогорский р-н.

деревня Веркола мать Степанида

Карточка учета

**Ф. И. О.** Абрамов Федор Александрович

рожд. 1920 кр-ец рядовой

Какой части: пулеметчик 70 арт. ордена Ленина див.

Поступил в: ЭГ 1170 29/1 XI–1941

Помещен в 2013 1/ХП

Дата ранения: 28/XI–1941

Диагноз, с которым поступил:

Пулевое ранение сред. 1/3 обеих бедер, с поврежд. кости.

Подпись»<sup>4</sup>.

В этой второй схватке со смертью он победил своим характером, своей поистине огромной силой воли. Вот его рассказ о хождении по кругам фронтового ада: «Мне пала счастливая карта... В сорок первом году на фронте нашему взводу был дан приказ проделать проходы в

---

<sup>3</sup> Архив военно-медицинских документов Министерства обороны СССР, Ленинград.

<sup>4</sup> Архив военно-медицинских документов Министерства обороны СССР, Ленинград.

проволочных заграждениях в переднем крае вражеской обороны... Ну что же, мы поползли с ножницами в руках... Указали, кому ползти первым, кому за ним следом и так далее... Я попал во второй десяток, мне повезло. Когда убивало ползущего впереди, можно было укрыться за его телом на какое-то время... От взвода в живых осталось несколько человек... Мне перебило пулями ноги, я истекал кровью... И все-таки мне хватило крови доползти до своих. Мне крупно повезло!»

Удивительный человек: искалечена молодость, но пала счастливая карта – остался живой. Предстоял еще третий «рубеж жизни» – блокадная зима, раны Федора Абрамова не заживали...

Но почему начинать сразу ранениями? Им предшествовала счастливая радость студенческой жизни в одном из красивейших городов мира. Он уходил от большой красоты и своих юношеских надежд, понимая, за что идет сражаться, на какие основы посягнул фашизм.

Нам повезло: прямо с отцовского порога, из отдаленных городов и всей нашей необъятной Родины мы попали в один из крупнейших центров европейской культуры – Ленинградский университет. Молчаливые и сосредоточенные, наивные и восторженные, самые разные – студенческий народ, – мы учились, получали возможность общаться с выдающимися учеными.

Все наши мальчики-студенты на второй же день войны дали клятву в актовом зале «все силы отдать на защиту Родины, а если потребуется, то и жизнь!...». Сдав библиотечные книги, сложив конспекты и немудреные пожитки в чемоданы на хранение коменданту общежития, они ушли в народное ополчение, не ожидая повесток, – так уходил и Федя Абрамов. Они не подозревали о том, что становятся участниками героической истории.

В октябре месяце при вручении свидетельства об окончании ускоренных годичных курсов медицинских сестер «на фронт» меня не взяли. Я «хромыкала», пользуясь выражением Феи Абрамова, на левую ногу, и начальница курсов оказалась беспощадной. Мне как раз 18 июня назначили в травматологическом институте операцию на осень... И вдруг с моими только что приобретенными медицинскими познаниями я не нужна?

Полная отчаяния и решимости, я отправилась в госпиталь на истфаке. Попала прямо к незнакомому и, по-моему, очень серьезному начальнику медицинской части, военврачу первого ранга А. С. Долину, пожаловалась, что меня не взяли на фронт. Своей провинциальной наивностью в сочетании с восторженностью, отчего отец называл меня в шутку по имени героя «Обыкновенной истории» «Адуев-младший», я часто наповал «сражала» ленинградцев.

Наверное, изумлен был и начмед Долин – девчонка с аттестатом медсестры, с феноменальным отсутствием реального восприятия войны. Он-то хорошо знал, что враг находится в трех километрах от Кировского завода, фронт пришел в город с артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Мне и самой довелось пережить несколько бомбежек на предельной близости. Особенно помнится 16 октября, когда фугаска врезалась почти рядом с общежитием, а затем обрушились зажигательные бомбы. Вспыхнули деревянные «американские горы» – любимое увеселение ленинградцев, пылали в саду Госнардома деревянные строения, горел зоологический сад, развалился небольшой трехэтажный домик, примыкающий к стене нашего общежития. Выли сирены, красное зарево пожара осветило черное небо. От взрыва, казалось, поднялось и опустилось вместе с нами наше общежитие, все этажи заволочло дымом осыпавшейся штукатурки, закрыв голову руками, присела на корточки и выругалась комендант тетя Катя, а я неподвижно стояла – не от мужества, во мне все замерло, не шевельнуться.

Вскоре после праздника Великого Октября вся наша «сестринская» молодежь принесла военную присягу. Нам было присвоено звание сержанта, выданы гимнастерки и шинели, отныне мы на военном режиме. А в госпитале наступали трагические дни, они выстраивались в месяцы, обернулись «голодной лютой темной зимой сорок первого – сорок второго» (из надписи на стене Пискаревского мемориального кладбища). Кто пережил ее, знает, что самая большая часть погибших в блокаде приходится именно на эту зиму.

С 20 ноября произошло пятое снижение хлебных норм, ленинградцы стали получать самую низкую норму хлеба за все девятьсот дней блокады: 250 граммов хлеба с примесями, всему остальному населению – 125 граммов хлеба в день. Снижение коснулось и войск первой линии и госпиталей.

К голоду прибавился холод – рано выпал снег, установились крепкие морозы. Ранним утром в сугробах под стенами нашего госпиталя всегда находили несколько трупов: не в силах похоронить, родственники доставляли их сюда – госпиталь отвозил их вместе с умершими от тяжелых ран в братские траншеи. В начале декабря перестало работать центральное отопление, а 10 декабря госпиталь не получил электроэнергии – первая ночь, когда палаты, операционные, рентгеновские кабинеты потонули в ночной кромешной тьме. На дежурных постах и в палатах, в ординаторских замелькали слабые огоньки коптилок, введено «фитильное освещение». В палатах появились «буржуйки», все многочисленные водосточные трубы истфака сняты, из них мастера, в том числе и ходячие раненые, сработали дымоходные трубы и вывели их прямо в форточки. Холодно, мрачно, замерзшие окна слабо пропускают свет короткого зимнего дня.

Я снова склоняюсь над чистым листом бумаги с чувством беспомощности перед сверхзадачей. Какие найти слова, чтобы рассказать о том, как я увидела раненого Федю Абрамова?

Я сказала: увидела? Нет, это неверно. Я сначала его услышала, а потом увидела...

Поздний декабрьский вечер. Госпиталь погружен во мрак и тишину. Три этажа мужских страданий, особенно там, внизу, – в IX отделении лежат разбившиеся летчики, с ног до головы в гипсовых панцирях. Раненые еще не спят. У одних к ночи сильнее болят раны, более выносливых, идущих на поправку, мучает неутоленный голод, ужин жалкий – немного жидкой каши, кружка чаю, а хлеб съеден утром. На дежурном посту мигающий огонек коптилки бросает тени. Свернувшись от холода, сидим вдвоем с медсестрой соседнего отделения – вся ночь еще впереди. Третья сестра, пожилая Ш., пристроилась в палате, у нее дистрофия сопровождается недержанием мочи. Вначале это раздражало, теперь привыкли, жалеют. Вдруг по всему этажу гулко разносится отчаянный крик. Пронизывающие вопли человека, попавшего в беду:

– Ужин! Ужин! Дайте есть! Есть! Есть!..

Я подхватила. Крик из палат, закрепленных за мной. Что это? Торопливая дежурная из соседнего отделения сообщает, что вечером к нам прибыло два автобуса раненых из разбомбленного госпиталя. Их привезли в одном исподнем, наспех завернутыми в одеяла, – в такую стужу. Мне сдали ночную смену, не доложив о новичках.

Не помню, как вскочила в палату, не помню, чем и как осветила. На дежурном посту помню – коптилка, а тут – не помню. Возможно, еще в маленьких палатах оставалось по одной лампочке на экстренный случай, не помню...

Зато отчетливо, совсем наяву – на узкой железной койке худой юноша с непокорной густой шевелюрой, смуглым заострившимся лицом и темными, лихорадочно блестящими глазами. Укрытый байковым одеялом до пояса, с распахнутым воротом нательной рубашки, приподнявшись на локте, он умолял, просил, кричал вместе с другим новичком дать поесть.

«Вы, кажется, студентка филфака? – Он бросил на меня свой пристальный с прищуром взгляд. – А меня вы помните? Я студент третьего курса...» Еще бы, мы знали в лицо всех своих старшекурсников, сколько раз мы «срывались» к ним на лекции Гуковского. Глаза потеплели, в них вспыхнула надежда, попросил:

«Может быть, у вас остался кусочек хлеба, хоть корочка?»

И сейчас, сегодня, когда я уже совсем не молода, всегда сыта, мою душу заливает горячая волна и мне хочется куда-то рвануться, бежать, найти «тот» кусочек хлеба для него... Я не дала хлеба раненому, измученному переездом в такую стужу, ослабевшему и голодному. Мне нечего было дать, у меня ничего не было, мы терпеливо ждали утра, а с ним – хлебную норму, которую почти всегда тут же приканчивали, особенно после ночных дежурств. Снова крик... Не могу идти в палату! По темным маршам я спустилась на первый этаж к пищеблоку – все

закрыто, глухо, просила у других сестер – ни кусочка сахара, ни корочки. Ни даже кружки горячей воды – с электронагревательными приборами было покончено еще в конце ноября, тогда их оставляли для операционных.

«Учетная карточка» – единственное свидетельство, зато какое! Впервые в документе такого рода указано время (!) прибытия раненого. Ужин какой бы то ни было отошел. Мои «новички» не получили свою скудно отмеренную норму ни там, где их разбомбило, ни тут у нас. Дата и время прибытия объясняют все:

Карточка учета  
поступивших в лечебное учреждение  
**Ф. И. О.** Абрамов Федор Александрович  
Военное звание: красноармеец  
Наименование должности: пулеметчик  
Наименование лечебного учреждения: Поступил в ВГ 1012 в 20 часов  
15/ХІІ–1941  
Диагноз, с которым поступил: Сквозное пул. ранение м/т обоих бедер  
Исход: 17/ІІ–1942 г. выписан, эвакуирован в тыл.  
Подпись<sup>5</sup>.

Ночью подошла в палату проверить – жив, дышит, спал, а может быть, тихо лежал. Утром был молчалив и спокоен, полное владение собой. Измерила температуру, помогла умыться – с кружкой холодной воды над тазиком. Так был погружен Абрамов в блокадное «бытие». Никогда в остальной жизни ни он, ни я не вспоминали этот вечер.

Рана оказалась у него тяжелая, хотя обманчивая на вид. В верхней части бедра левой ноги сравнительно небольшая, но глубокая кровоточащая дыра. В «учетных карточках» попеременно указано повреждение мягких тканей, то кости и мягких тканей, но почему-то отсутствует запись о том, что перебит был еще и нерв. Знаменитое госпитальное утешение «кости целы – мясо нарастет» к нему отношения не имело. Нога болталась как тряпка, ни опереться, ни согнуть – рана не заживала.

Мы не задумывались тогда о «болевом пороге», да и термин этот стал в ходу после «Ледовой книги» Юхана Смуула. Но болевой порог Абрамова был особый, его повышенная чувствительность отражалась в боли, он был к ней очень чувствителен, хотя не стонал, не кричал, не надоедал жалобами, постепенно таял, и только мрачно горели глаза. Часто в холодной перевязочной, когда приходилось снимать присохшие бинты, его мальчишечье лицо темнело, становилось страдальческим, а сам он весь напрягался и, боже мой, стыдливо со смущением натягивал рубаху, оставляя открытой только рану. Всегда просил: «Ты только осторожно, размочи бинт, снимай тихонько, не сразу...»

Однажды, стараясь сократить его мучительное ожидание боли, я рванула влипший бинт – пошла кровь, он весь дернулся. Страшно вспомнить – застонал от боли, корил меня, подпустил к себе только врача. В такой момент любая сестра милосердия почувствует себя идиоткой.

На госпитальной койке у Абрамова хватало тягучего времени для раздумий, здесь шла своя, полная большого духовного напряжения жизнь. Происходила внутренняя работа души, обостренная переживаниями военной службы, неутраченной болью от ран, от бессонницы, от адского недоедания, от страданий лежащих рядом раненых мужчин – все они были старше его. Федина палата держалась стойко: надо было выжить, сохранить не только физическое, но и нравственное здоровье, чтобы снова встать в строй – их выписывали в батальон выздоравливающих. Мужчины, человек семь в палате, признали его своим авторитетом. С ним лежали простые люди, не слишком грамотные, они прислушивались к его голосу, у них иногда возни-

---

<sup>5</sup> Архив военно-медицинских документов Министерства обороны СССР, Ленинград.

кал серьезный обмен мнениями – предпочтительно без сестер и врачей... Как-то Федя был снова раздражен, потому что я подбодрила своих раненых слухом о прибавке хлебной нормы в городе, а значит, и им также. На следующее утро порции хлеба раздали как обычно, по прежней норме – это делал староста палаты. И при моем появлении Абрамов внушительно, мрачно, с молчаливого согласия остальных, выговаривал мне, что не надо неоправданных обещаний. Мы, мол, не требуем, так зачем-де напрасные утешения и тревоги. Конечно, говорил он не теми словами, которые я привожу по памяти в своем эмоциональном восприятии. Но было обидно, я не сразу сообразила, что от имени всех Федя высказывал готовность все выдержать, но давал понять, что человек – хозяин своему слову, а слово должно быть правдивое. Он не был и не хотел казаться добреньким, – суровый, подчас жестокий, он и тогда был требовательным к себе и к другим. К счастью, небольшая прибавка потом была, она не спасала от смертности, но обнадежила население города возможностью улучшения.

Во всей собранной суровой натуре Абрамова чувствовалась крестьянская основательность, идущая от тех архангельских крестьян, которые не знали крепостного права, а также неутолимая работа собственного пытливого интеллекта. Его сильным оружием был разум, русский склад ума, он выручал его в невероятных ситуациях блокады.

Он заинтересовал своеобразием своей личности палатного врача М. Лурье, после двух-трех обходов она выделила именно его из своих больных. Я не любила эту изможденную пожилую женщину, возможно, такой она казалась от голода, с вечно озябшими сухонькими руками, в моих глазах она теряла еще и потому, что была терапевтом по специальности. Она дважды обещала отдать меня «под военный трибунал» за то, что я не успевала всем раненым измерить температуру к ее обходу. Но как успеть пять градусников поставить тридцати больным? А иногда градусников оставалось меньше, их подхватывали более опытные сестры. Следующим утром меня «обучали» выздоравливающие, по-мужски выручали: «Сестра, ставь 36,1 – мерить не надо!» – «Почему 36,1?» – «Сестра, у меня выше не бывает...» Тут же несколько человек повторили то же самое. И я поочередно проверяла – да, выше 36,0 не поднималась температура у голодных. Так я обрастала «медицинским опытом», но все-таки проверяла и выздоравливающих, опасаясь у них упадка сил.

Наконец врачу пришла мысль позвать меня в ординаторскую на разговор о Феде Абрамове. Со всей горячностью, вспыхнувшей в моем уже порядком дистрофическом существе, когда я до самого лета потеряла способность смеяться, я заверяла Лурье, что это самый талантливый студент на филфаке: «Вы не представляете, какой это талант!»

Конечно, в семидесятых годах литературная критика с полной ответственностью заговорила о большом художественном мире Федора Абрамова, его стали воспринимать как настоящее явление советской литературы. А что я могла знать тогда? Во мне, видно, прорвалось чувство университетского фронтового братства. Оно сохранилось во мне навсегда по отношению к выпускникам университета моего поколения – тем, кого застала дифференцированная стипендия, плата за обучение, а потом война.

Лурье застыла в задумчивости, потом многозначительно объявила, что выпишет для Абрамова... дополнительную тарелку супа в обед. «Будем лечить, если выдержит, отправлю в числе первых в эвакуацию... При первой возможности». Блокадный суп в блокадном госпитале в январе сорок второго года. Ни фрукты, ни витамины, ни масло и шоколад, а суп... И я несла его из раздаточной, стараясь заполучить у буфетчицы Гали (тоже студентка истфака). Но даже при самом строгом контроле дежурного врача часто от раздачи ничего не оставалось или же оставалось полтарелки. Не упрекая, Федя спрашивал: «Почему не полная?» И прямо через край, не отрываясь, втягивал жидкость.

Новогодний вечер сорок второго года я «смочила» слезами, впервые за долгие месяцы плакала: остаться одной, после дежурства, в темной, насквозь промерзшей комнате, куда мы приходили только спать. Совсем недавно свой первый студенческий Новый год я встречала

в веселой ленинградской квартире. У сверкающей, с лесным духом елки подняла тост «За счастье!» вся наша «пятая русская» группа. Вскорости от нее остались немногие.

А этот январь стал невыносимым испытанием для всего госпиталя. Ни хлеба, ни света, ни воды, на этажах чадающие коптилки, дым от «буржук», едкий запах махорки и пота. Воду начали брать из Невы: водопровод замерз. Сто человек – медсестры, политруки, санитарки, выстроившись цепочкой с ведрами в руках, одолевали полукилометровый путь к реке. А еще обратно... Воды надо много... Стерилизаторы на снеговой воде вместо дистиллированной. Временно перестала работать прачечная. А мытье поступающих раненых... Нет, даже в этих условиях меня за водой не отправляли, я ощутила на себе гуманизм блокадников-ленинградцев. Правда, мне пришлось в амуничнике (бывший актовый зал, расположенный амфитеатром) старыми утюгами досушивать выстиранные ватники для тех, кто возвращался в строй. Пар от утюгов и невыносимый холод в зале, на попитрах выше, выше – целыми рядами расстелены мокрые ватники.

Надо держаться! Серые лица, тусклые глаза, вялые движения – так выглядим мы, наша небольшая университетская группа медсестер. Называю тех, с кем выжила и хорошо помню: Ира Девяткина (историк, доцент Тартуского университета), Шура Мартынова (экономист) – она еще держится неплохо и самая активная, умеет выпросить у начхоза пузырек горючего для коптилки, Аня Абанина (экономист) – острижена наголо после тяжелой болезни от родов на цементном полу бомбоубежища и потери ребенка.

На рубеже наших общих блокадных испытаний Федор Абрамов явил силу человеческого духа, момент особой высокой жизни. Он не просто удивил меня, но привел в какое-то обалдение своей необычной просьбой: «Валя, достань мне «Эстетику» Гегеля! Только не забудь, второй том «Эстетики». Слышишь, второй том». Бог мой, ну и странный же этот Абрамов! Где взять эту «Эстетику»? О немецком философе я уже кое-что знала, на семинаре по истории марксизма нас, первокурсников, познакомили с «рациональным зерном» гегелевской диалектики. Но эстетика... На отделениях госпиталя появилась библиотекарь Ляля Бородина, студентка консерватории, родственница русского композитора. Совсем прозрачная от слабости, она носила «передвижную» библиотеку из популярных произведений русской и советской классики, выделенных университетом. Работающая библиотека – это тоже помогало выстоять. Конечно, Гегеля у нее и в помине не было, а Федя не унимался и настойчиво просил: «Когда принесешь второй том «Эстетики», ты не забыла?» Он и в третий раз не отступился, но моих дистрофических сил не хватало, чтоб после дежурства по пешеходным тропинкам вдоль сугробов попытаться добраться в библиотеку.

Я не выполнила и эту просьбу, – прости меня, Федор Александрович! Но меня постоянно тяготила мысль, почему же так случилось, что самые заветные твои просьбы я не могла выполнить? А ты спустя сорок лет написал: «А мы ведь с тобой друзья с каких пор! Через какие испытания прошли вместе!»

И я попыталась оправдать свою растревоженную совесть, решила выяснить, какие имелись довоенные издания Гегеля? Отыскать удалось, правда, не сразу, все в эту же морозную зиму накануне великого юбилея Победы!

Лишь спустя десятилетия меня осенило, почему все-таки именно Гегель... Абрамов не терпел разговоров и нытья о еде, в его палате их не было. И он сознательно не просил художественных произведений, которые возвращали бы в уютный размеренный быт, с ушедшими заботами, ароматом липовых аллей, несчастной любовью и страданиями, так несравнимыми с теми, когда вандалы жгли и топтали родную землю! Уйти в мир высоких абстрактных идей «науки о прекрасном» – вот чего он хотел. Не только отвлекало бы от голода, но и давало пищу уму. «Писатели – люди с сильным характером. Со слабым характером в литературе нечего делать» – вот когда ковался его характер. А характер понадобился ему с первых шагов. И когда

полз окровавленный на поле боя, и в блокадную зиму, и для работы после демобилизации в родных местах.

30 января госпиталь озарился электрическим сиянием, так показалось, – на самом же деле в палатах, в операционных, в перевязочных вполсилы горели лампочки! Один из вмерзших на Неве кораблей, что стоял напротив университета, отдал с согласия команды свою электроэнергию нашему госпиталю. За счет самоотверженного отказа от света самим себе! Они противостояли вандализму не только залпами своих орудий, противостояли самым главным человеческим качеством – добротой.

Помощь моряков-балтийцев пришла вовремя, она явилась спасением прежде всего для раненых: начали бесперебойно работать операционные, в нужное время включались перевязочные, лаборатории. Появилась вода для хирургических и бытовых нужд, стало легче с перевязочным материалом, стерилизовались уже не только хирургические инструменты. Испорченные, окровавленные, загрязненные бинты не выбрасывались, побуревшие от стерильного кипячения, но гигиенически безупречные, они снова возвращены в перевязочные, – мы их часами скатывали в плотные трубочки для следующих перевязок. Уже выкупаны и вымыты все раненые, среди них не осталось ни одного из тех, у кого сыпались вши из бинтов, полностью ликвидирована вшивость, в палатах чистые постели – за высокое санитарное состояние госпиталя руководство в феврале было награждено орденами. Но сил оставалось все меньше, дистрофия продолжала косить людей, она становилась подобной бомбе замедленного действия: не знаешь, когда взорвется, неся смертельную опасность всем нам.

Несмотря на то что по ледовой трассе Ладоги уже началась доставка продуктов – страна изо всех сил стремилась помочь ленинградцам, – однако продуктов не хватало, чтобы обеспечить населению выдачу по карточкам даже таких скудных норм, как те, что были объявлены 20 января, – 400 граммов крупы рабочим, 200 граммов служащим, 100 граммов иждивенцам – это за месяц! Жиров – никаких, только детям – 75 граммов. Невозможно было улучшить питание и для раненых, наполнить их истощенный организм витаминами, жирами, исключить нервное перенапряжение от постоянных воздушных тревог, воя сирен, рвущихся снарядов, пальбы зенитных орудий, когда звенели все стекла и дрожали стены госпиталя. Эвакуация становилась необходимой для жителей города, и она началась с последней декады января, в первую очередь отправляли женщин и детей, больных и раненых.

На исходе этой страшной зимы, 17 февраля, Федор Абрамов был эвакуирован по Дороге жизни на длительное лечение в тыл. Как раз все эти сутки сопровождался обстрелом города – ночью, а затем около двух часов падали снаряды днем. Его отправка, как и прибытие в госпиталь, будут помниться до смертного часа. Вот оно, еще одно блокадное «видение»: в холодном пустом вестибюле он стоит на костылях, в шинели, опираясь на одну ногу, левая полусогнута, висит закутанная, лицо почти угрюмое от напряжения.

Ждут машину, раненых не много – отправляли только тех, кто мог хоть немного передвигаться. Входная дверь беспрестанно хлопает – ветер, сквозняком здорово пробирает. Спустилась к нему с дежурства, прощаемся строго, почти безмолвно. Потом, повиснув на костылях, развел в обе стороны свои небольшие ладони: «У меня голые руки, Валя, я еду без варежек...»

Огромные брезентовые рукавицы, что мне выдали в госпитале, для костылей не годятся. Несу шерстяные, малинового цвета варежки, дала приятельница. Надел... на левой варежке во всю ладонь дыра! В уголках его сжатых губ – горечь и скорбь.

А машины все нет, присесть тоже негде – вестибюль освобожден от всего лишнего для транспортировки раненых, спуска их в бомбоубежище при воздушных тревогах. Снова ушла в отделение на третий этаж, меня в любую минуту могут хватиться. И когда спустилась на всякий случай в третий раз, он все еще стоял... Откуда только у него брались силы стоять на одной ноге, с тяжелой, незажившей раной, под северным сквозняком? Наверное, личность в любых условиях остается тем, что она есть, – стойкость его прошла и через это испытание.

Отправка раненых в феврале по Дороге жизни требовала большого мужества от работающих на ней, она была полна опасности и для тех, кого эвакуировали. Она шла при лютых морозах и сильных ветрах, артобстрелах и налетах вражеской авиации. Правда, трасса имела надежную оборону и автобатальоны для оказания помощи идущим машинам. Но кто был застрахован от внезапных трещин во льду глубокого озера, попадания снарядов и бомбежек? Федор Абрамов уходил в большую трудную жизнь, навстречу своей замечательной писательской судьбе по легендарной теперь ледовой трассе, проложенной через Ладогу:

«После долгих скитаний по госпиталям я наконец очутился у себя на родине – в глухих лесах Архангельской области. И вот тут-то мне и посчастливилось увидеть своих земляков во весь их богатырский рост.

Время было страшное. Только что подсохшие степи юга содрогались от гула и грохота сражений, – враг рвался к Волге, а тут, на моей родной Пинеге, шло свое сражение – сражение за хлеб, за жизнь. Снаряды не рвались, пули не свистели, но были похоронки, была нужда страшная и работа. Тяжелая мужская работа в поле и на лугу. И делали эту работу полуголодные бабы, старики, подростки.

Много видел я в то лето людского горя и страданий. Но еще больше – мужества, выносливости и русской душевной щедрости. И вот на основе увиденного и лично пережитого и родился впоследствии мой первый роман «Братья и сестры»».

Надо знать мужество этого человека, представление о нем лишь в какой-то степени могут дополнить страницы его блокадной жизни. Он и сам неоднократно заострял внимание на роли автобиографического материала в творчестве писателя, всегда неизбежного, если все пропущено через сердце, но с полной ответственностью указывал на «автобиографичность особого рода» в своих романах. Детство без отца, чувство повышенного долга перед родными, когда братьям и сестрам нужна была его помощь, способствовали ему как художнику создать живые образы крестьянской семьи Пряслиных, их готовность идти на взаимовыручку, их беззаветный труд и совесть.

Личным примером он показал, как надо жить и бороться, каким должен быть человек-гражданин. Для него не было выше понятия, чем звание коммуниста, оно определило его поведение в боях, в блокаде, в отношении к писательскому труду. Свое личное, выстраданное он вложил в уста коммуниста Лукашина в трилогии «Пряслины» – образ в своей духовной сущности автобиографический: «А эти бабы, которых ты агитируешь? Многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето? А дети? У кого из них побывал кусок сахара во рту? Тут, коммунист тот, кто может сказать: я умирал столько, сколько и вы, и даже больше; мое брюхо кричало от голода так же, как ваше, вы ходили босые, оборванные – и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами – во всем и до конца».

Возможно, спросят некоторые из тех, кому доведется прочесть эти строчки: неужели так-таки всегда суровый, собранный, неужели не пришлось его видеть смеющимся, веселым? Да, в послевоенной жизни сколько раз встречали его радостным, но не в блокаде. Особенно помнится его просветленное, улыбающееся лицо на второй или третий день после защиты кандидатской диссертации. Все еще обитая в общежитии, он иногда захаживал к нам в комнату, где я жила с сестрой-студенткой. С какой-то смущенной радостью показывал коробку с туфлями – подарок ему от коллег по кафедре. Любовался красивой, добротной обувкой, – наше поколение не было избаловано достатком. А тут триумф – и кандидатская к сроку защищена, и растроган подарком, который пришелся как нельзя кстати.

Писательское влияние его на мою душу началось не романом «Братья и сестры», а нашумевшей очерковой повестью «Вокруг да около» (1963). Она показалась откровением, порывом, как если бы свежий ветер дохнул в тогдашнюю литературу о деревне и подхватил, унес из нее идиллические, умильные картины, зарябил, да и выплеснул «розовую» водицу. Повесть вызвала кое у кого негодование, но большинство читателей встретило ее с восторгом. В споре



с авторами, ушедшими от живой реальной действительности послевоенной деревни, которая вынесла на себе тяжесть экономических перемен, полностью проявился его характер – суровый и решительный, смелый и независимый. Года четыре после этого он не печатался, напряженно работая над продолжением своей трилогии: «Захотелось дать срез последнего тридцатилетия крестьянской жизни России, воздать должное деревне. На ней, на деревенской ниве, всколотилась русская культура, этика, язык». Но и тут у него не было иллюзий в отношении деревни в ее «исконно патриархальном виде», глубоко понимал он и противоречивые процессы урбанизации.

Давно было пора пригласить этого замечательного писателя побывать в Белоруссии, ближе познакомиться с героической партизанской землей. Где-то в пятьдесят первом году он приезжал в Минск, здесь в университете работала его друг и будущая жена Людмила Владимировна Крутикова. Но ведь с тех пор Минск поднялся из руин, современный архитектурно стройный город, широко протянулись светлые улицы, пьянящие летом медовым запахом цветущих лип. Без этого отступления не будет понятно письмо Федора Александровича, которое мне бы хотелось привести здесь:

### **Дорогая Валентина Игнатьевна!**

Очень хотелось бы побывать на Белорусской земле (это моя давняя мечта), но в ближайшее время не собраться: в мае я еду к себе на Север.

Давайте отложим встречу на будущие времена. Хорошо? И давайте исключим книголюбов (мне надоели выступления), а просто встретимся, как старые-старые друзья. И заодно поедем по легендарной Белорусской земле...

Кстати, очень рад за него (имеется в виду А. Адамович. – В. Г.), по рецензиям В. Быкова, его новая повесть определенно новая удача. Поздравляйте его от моего имени.

А тебя, Валюша, я нежно обнимаю и с благодарностью вспоминаю (опять и опять) про наши военные встречи. Ты молодец, и в нашей Победе, которую мы скоро будем праздновать, есть и твоя доля, твой труд и твой подвиг.

Люся кланяется.

30. III.1980

Ф. Абрамов

Мудрецы древности утверждают: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга. Я не ждала такого большого подарка судьбы и принимаю его в адрес всего фронтового поколения. Действительно, с уважением и законной гордостью за свое прошлое оно встречало великую Победу!

Я видела, как талант Федора Абрамова чутко вбирает приметы времени. Стараясь читать все или, по крайней мере, почти все, что выходило из-под пера Абрамова, я порадовалась хорошим рассказам, как оказалось, последним прижизненным, опубликованным в «Новом мире».

Неожиданно грустноватым, с какой-то недосказанной печалью, с ощущением постепенно усиливающейся болезни, оказалось ответное письмо. И тем не менее оно полно интереса к жизни, желанию успеть досказать, может быть, самое главное:

### **Дорогая, милая Валя!**

Очень, очень рад твоей весточке – так давно о тебе ничего не слышно. А мы ведь друзья с тобой с каких пор? Через какие испытания прошли вместе!

Спасибо тебе за добрые слова о моих рассказах. «Бабилей» – это сборник. Лишнего экз. у меня сейчас под руками нет, но я постараюсь прислать тебе осенью 2-е изд. Ну а насчет самого словечка... «Бабий юбилей» – вот что это такое.

Не буду распространяться о своей жизни. Во-первых, совершенно некогда, а во-вторых, что в ней интересного?

Последний месяц, например, болел воспалением легких, завтра собираюсь в Финляндию, потом, как всегда, на Север, к себе на Пинегу, где пробуду до сентября. А потом...

А потом дай бог здоровья и ума написать новую книгу, над которой я раздумываю вот более 20 лет.

Люся из университета ушла и помогает мне, но часто болеет.

Что тебе еще сказать? Будешь в Питере – не обходи нас. Мы будем очень рады тебе.

Привет твоей дочке... Мне хочется думать, что вы с ней друзья и вообще живете душа в душу.

Будь здорова, милая Валя!

Обнимаю тебя душевно.

6. IV.1982

*Ф. Абрамов*

Мы давно с ним не виделись... Удивительная штука – память. В сознании обоих мы оставались молодыми, красивыми – ведь молодость и есть красота! К тому же описывать прошлое меньший риск, чем писать настоящее. На этих страницах пусть он останется таким, как в те годы, – молодым, негибачаемым в испытаниях, полным надежд и веры в человека.

## На войне и после

*М. Каган*

Хотя мы с Федором поступили на филологический факультет Ленинградского университета одновременно – в 1938 году, случилось так, что в студенческие годы мы даже не были знакомы. Познакомились мы на третий день после начала Отечественной войны, когда оказались в одной землянке на строительстве оборонительных рубежей на Карельском перешейке, а оттуда вместе пошли в ополчение и уже не расставались до 24 сентября 1941 года, когда и его и меня ранило в Старом Петергофе. В Ленинграде мы лежали в разных госпиталях, моя мать навещала Федора, а я увидел его, только когда он пришел проститься со мной после его выписки из госпиталя и перед возвращением на фронт. Потом мы регулярно переписывались, и, когда Федора демобилизовали после окончания войны и он приехал в Ленинград завершать учебу в университете, он поселился у меня и первое время жил в моей семье – мать моя говорила, что это ее второй сын. Я не слишком удивился поэтому, когда Федор на праздновании своего 60-летия в Союзе писателей, вспоминая о людях, сыгравших особую роль в его жизни, назвал и мою мать, Мину Захарьевну Каган. У него была не только хорошая память, но и благодарное сердце: если мать ходила к нему в госпиталь во время блокады, то Федор навещал ее и в больнице, и дома в последние годы ее жизни. Об одном из таких посещений я расскажу особо.

Чтобы ощутить первое впечатление, которое произвел на меня Федор Абрамов, нужно представить себе психологическую ситуацию, порожденную поступлением на филологический факультет Ленинградского университета деревенского парня, с характерным для русского севера говорком, походкой вразвалку, отсутствием того уровня общей культуры, который отличал окружавших его ребят – ленинградских «аборигенов», выросших в интеллигентных семьях, говоривших на иностранных языках, знавших собрания Эрмитажа и Русского музея, завсегдатаев театров и филармонических концертов. Федор явно «комплексовал» в этой среде и старался скрыть это, нарочито усиливая свои социальные приметы, чтобы этим уравновесить достоинства «петербуржцев». Однако нехитрые эти приемы не только легко разгадывались молодыми людьми, читавшими Достоевского и Горького, но и производили не запланированный автором эффект – по той простой причине, что в абрамовском комиковании, в рассказываемых им сказочках, прибаутках, частушках, в самом звучании его речи и ее интонационном строе ярко выявлялся талант – талант актера, рассказчика, фольклорного сказителя, а за всем этим угадывался человеческий талант – нравственная сила, душевная чистота, потребность дружбы и любви, искренняя эмоциональность, острый, пронзительный ум и скрепляющий все это воедино юмор – сочный, красочный, истинно крестьянский.

Нравственную, а не только эстетическую силу этого юмора мы могли оценить в полной мере в нелегкие дни нашей фронтовой жизни – необученные, безоружные и никем не руководимые мальчишки, обязанные остановить накатывающуюся на Ленинград лавину фашистской армии, перед которой бессильно пятились из Эстонии разрозненные остатки разгромленных регулярных войск. Нетрудно себе представить, какое психологическое воздействие оказывали на нас этот поток отступления и ожидание нашей встречи с фашистами. Что могли мы противопоставить их танкам, самолетам, артиллерии, мотоциклам, автоматам, кроме силы духа, готовности к жертвенному подвигу и веры в конечную победу нашего правого дела?

Вот тут-то и сказывалась живительная сила абрамовского юмора – и его собственного, и того североморского, пинежского, который звучал в его рассказах, байках, частушках. Эту живительную силу абрамовского юмора и абрамовского актерского дара я оценил в полной мере еще раз много лет спустя, когда мы с ним пришли в Мечниковскую больницу навесить мою мать. Она лежала со сломанной ногой в палате, где рядом с ней находилось еще шесть

пожилых и совсем старых женщин. Поначалу Федору хотелось развеселить и подбодрить мою мать, которая была счастлива, увидев его, а потом, заметив внимание к необычному посетителю других обитательниц палаты, он повысил голос и стал рассказывать для всех – воспоминания о заграничных поездках, какие-то пинежские истории, бог знает что, но рассказывал так, что все старушки умирали от смеха, а я вместе с ними, и, пока дежурный врач не выставил нас из палаты, Федор не умолкал, словно не насыщаясь той радостью, которую он дарил людям.

О смелости, гражданском мужестве Федора Абрамова знают все читатели его повестей, романов, критических статей. Но вот эпизод его военной жизни, помогающий увидеть истоки этих качеств.

Первой проверкой храбрости солдата-ополченца Федора Абрамова стал момент, когда нам, остаткам взвода, выбиравшегося по лесу из окружения, нужно было выяснить, в каком направлении двигаться дальше, чтобы соединиться с какой-нибудь боеспособной воинской частью. Как командир отделения, – а командира взвода с нами не было, – я взял ответственность на себя и сказал: «Надо идти в разведку. Кто со мной?» Первым отозвался Федор. Не из этого ли его, чисто нравственного, чувства выросло впоследствии все его творчество, требовавшее не меньшей смелости, чем военная разведка, и того же самого сознания – нельзя перекладывать на других то, что можешь сделать сам, даже если это связано с немалым риском...

Другая проба абрамовского характера – его непреложное решение демобилизоваться и вернуться в университет, хотя перед ним расстилалась заманчивая по тем временам карьера контрразведчика. Вернуться же предстояло к двум годам нелегкой студенческой жизни с полной неясностью дальнейшей судьбы; писательская профессия была, очевидно, и тогда мечтой, не имевшей еще никаких оснований. Но тут филологическим устремлениям Абрамова пришлось столкнуться с еще одним неожиданным препятствием – искушением поменять литературоведческое образование на искусствоведческое.

Дело в том, что в это время я был уже аспирантом кафедры истории искусства, которую перебазировали с филологического факультета на исторический. По приезду в Ленинград Федор, как я уже писал, жил некоторое время у меня, пока не получил место в общежитии, и мы энергично обсуждали планы и перспективы его дальнейшей жизни. В одном из таких обсуждений у меня родилась мысль: а почему бы и Федору вслед не перейти на кафедру истории искусства и не получить искусствоведческое образование? Мой главный аргумент был таков: «Три курса ты уже проучился на филфаке, основы филологии постиг, остальное можешь сделать самостоятельно, а искусствоведческое образование самостоятельно не получишь; переход на искусствоведческое отделение, пусть ценой потери года и сдачи экстерном за первые два курса, даст тебе второе образование, расширит твой художественный кругозор, общую культуру, а по окончании сможешь заняться, чем захочешь, – искусствоведением, литературоведением, эстетикой...»

Мои аргументы – а может быть, и эмоциональный напор – подействовали, и Федор перешел на третий курс искусствоведческого отделения исторического факультета. Надо ли говорить о том, что его там прекрасно встретили все – от заведующего кафедрой профессора И. И. Иоффе до студентов его группы, что все, кто мог, помогали ему «догонять» обошедших его в профессиональной подготовке студентов. Федор полюбил живопись, полюбил на всю жизнь – не случайно среди его самых близких друзей будет всегда не меньше живописцев и искусствоведов, чем литераторов; он успешно сдавал экзамены и втягивался в работу семинаров, я помогал ему, как мог... И все же через несколько месяцев он мне сказал, стыдясь своего, казалось бы, малодушия, но достаточно твердо: «Я возвращаюсь на филфак». И я не стал его отговаривать, потому что за эти месяцы совместной жизни и каждодневных бесед понял: Федор по природе своей, по нутру своему *словесник*; как бы ни любил он живопись, или музыку, или кинематограф и как бы ни был велик его актерский дар, его стихия – слово, чистое, живое, самостоятельное – «самовитое», как говаривали когда-то футуристы; и если не станет он масте-

ром слова – писателем, он будет, несомненно, превосходным «аналитиком» слова и его «оценщиком» – словесником, ученым или критиком.

Так оно и произошло – через педагогику, через литературоведение, через литературную критику, в которых Абрамов стал сразу известен именно потому, что понимал литературу не как *искусство словом*, а как *искусство слова*, – он пришел к словесному творчеству, доказывая (увы, один из немногих!), что литература может и должна быть «словесной живописью», как называли ее еще в древности.

Признаюсь честно – на протяжении последних двадцати лет наши отношения с Федором не были безоблачными; тому виной и некоторые внешние обстоятельства социального характера, которые мы не всегда оценивали одинаково, и некоторые личные слабости характера – как Федора, так, наверно, и мои. Не хочу делать эти недоразумения общественным достоянием, но не могу не сказать: тогда, когда Федор Абрамов осознал сделанную им ошибку, он имел мужество не только признать это, но и стремился исправить ее – и в своем творчестве, и в своих отношениях с друзьями. А это, думаю, одно из самых редких и самых ценных качеств, которые встречаются и у малых, и у больших людей.

## **Суровые и светлые годы филфака** *Из статьи Антонины Рединой*

Третьекурсник Федор Абрамов, пораженный товарищей своей необычной работоспособностью, неистовым стремлением к знаниям, уже в который раз упрощает секретаря деканата Марию Семеновну Лев:

– Дайте мне, пожалуйста, адрес Валентины Александровны Приходько. В квартире профессора Марии Александровны Соколовой мне сказали, что она уехала к Приходько.

– Не могу. Какой уже по счету адрес вы у меня просите? Подавшись вперед, не желая никому уступать в этот момент, Федор, по-северному окая, приводит все доводы и резоны:

– Я сегодня же (было воскресенье. – *А. Р.*) должен найти Марию Александровну и сдать досрочно экзамен по русскому языку. Поймите, не могу же я идти добровольцем на фронт с академическими хвостами!

И Мария Семеновна сдается: доводы убедительны. И упрямство студента ей по душе.

Защищая подступы к Ленинграду, Федор Абрамов воевал храбро, честно.

...Передовой край обороны под Колпином. Ударному батальону приказано делать проходы в проволочном заграждении, поставленном фашистами. Место открытое – болото...

Под минометным огнем, с ножницами и противотанковой гранатой в руках, ползет Федор Абрамов к заграждению. Горько на душе – много на этом жестоком поле пало товарищей. И он идет мстить за поруганную землю, за оборванные жизни ровесников. Но пулеметная очередь прошивает и его самого. Потеряв сознание, истекая кровью, лежит молодой солдат без движения. И уже замечает его поземка... Ночью, посчитав Абрамова мертвым, бойцы специальной команды волокут его на плащпалатке к братской могиле. Обессиленные солдаты с трудом передвигаются.

Один из них, споткнувшись, проливает на лицо Федора горячую воду из своего котелка. И раненый боец, выведенный из шока, стонет.

Мне навсегда врезался в память этот драматический эпизод из биографии моего студента, ныне талантливого писателя Федора Александровича Абрамова.



Леонид Сокольский и Федор Абрамов. Студенты 3 курса ЛГУ. Незадолго до ухода в ополчение. Июнь 1941 года



Пятая группа филологического факультета ЛГУ. Стоят: вторая слева – Людмила Крутикова, четвертый – Леонид Сокольский, пятый – Семен Рогинский, шестой – Яков Либерман. Сидит вторая справа – Тамара Голованова



После блокадного госпиталя. 1942 год





Курсант Архангельского военно-пулеметного училища. Март 1943



Следователь контрразведки «СМЕРШ». Август 1943 года



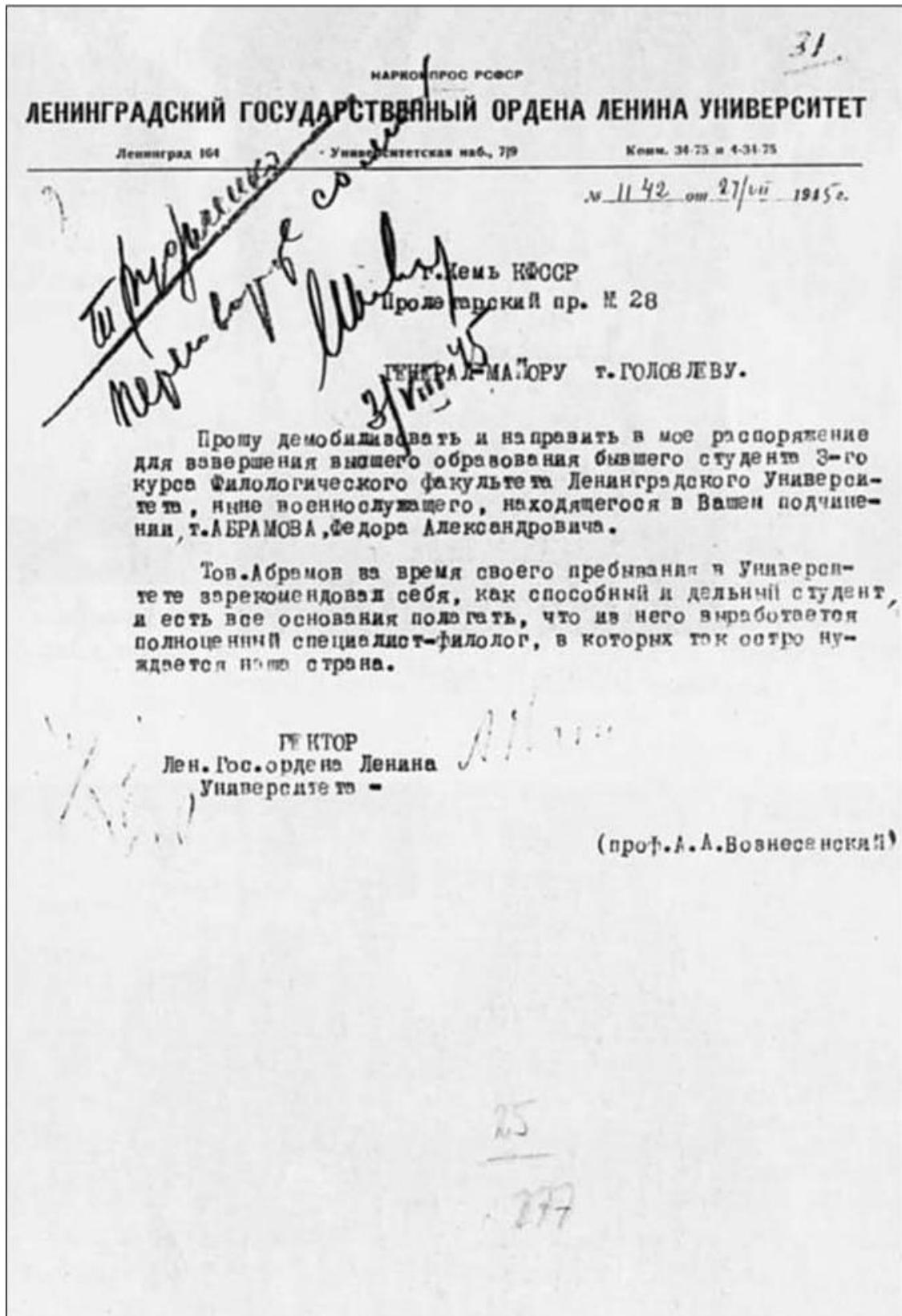
В день Победы в Петрозаводске. В. Михайлов (сотрудник контрразведки), Ф. Абрамов



Федор Абрамов, Федор Иванович Ястребов, Василий Андреевич Новоселов. 14 мая 1945 года



После демобилизации. Октябрь 1945 года



Письмо ректора ЛГУ А. А. Вознесенского (фотокопия документа)



Студент 5 курса. 1948 год



На Университетской набережной около филологического факультета ЛГУ Людмила Микитич и Федор Абрамов. Весна 1948 года



Вечер встречи сокурсников через 30 лет. Филологический факультет ЛГУ. 1968 год. Стоят: Яков Либерман, Людмила Крутикова, справа – Федор Абрамов. Сидит слева Тамара Голованова





Вечер встречи сокурсников через 40 лет. Актовый зал ЛГУ. 1978 год



На выставке художника Е. Е. Моисеенко в Русском музее. Ленинград. 1982 год



Веркола. 1976 год

## Приложение

### О службе Ф. А. Абрамова в органах контрразведки

*А. Б. Кононов*

В хорошо изученной биографии Ф. А. Абрамова есть период – после возвращения его с фронта и лечения в госпиталях, – до последнего времени остающийся малоизвестным для исследователей и почитателей таланта нашего земляка. Сам Абрамов следующим образом характеризует те годы: «Провел три месяца в родных краях, потом снова ушел в армию, служил в нестроевых частях с лета 1941-го (видимо, описка, на самом деле – 1942-го. – А. К.) по 1945-й: был заместителем политрука роты, год работал в особом отделе Архангельского военного округа» (Лит. газета. 1983. № 15. 13 апр.). В действительности Ф. А. Абрамов проходил службу в Отделе контрразведки НКО «Смерш» Архангельского военного округа, дислоцировавшегося в Архангельске, с апреля 1943 по октябрь 1945 года. О возможных причинах, побудивших Абрамова столь лаконично описать свою службу в контрразведке, скажу несколько ниже. А пока, соблюдая хронологию событий и опираясь на впервые вводимые в оборот документы личного дела сотрудника ОК НКО «Смерш» Ф. А. Абрамова (дело находится на постоянном хранении в архиве ФСБ РФ), попробуем проследить его военную судьбу.

Июнь 1941 года застал Федора Абрамова студентом третьего курса филологического факультета Ленинградского государственного университета. 14 июля 1941 года Абрамов добровольно вступил в ряды народного ополчения г. Ленинграда. Фронт подходил все ближе, к осени 1941-го бои велись уже в ближайших пригородах северной столицы. Абрамов в качестве рядового – пулеметчика 377-го артиллерийско-пулеметного батальона – участвовал в тяжелых боях по обороне города. Жестокость тех боев проглядывает в сухих строчках официального документа «Обстоятельства моих ранений», написанного Абрамовым при поступлении на службу в Смерш:

«...В боях под д. Пиудузи, на окраинах Старого Петергофа, батальон был разбит. Остатки батальона, в том числе и я, вышли в гор. Новый Петергоф.

В гор. Ораниенбаум батальон был вновь укомплектован. По приказанию командования батальон занял оборону в гор. Старый Петергоф. Участок обороны нашей роты проходил по деревням, расположенным на окраине города.

В течение 2-х дней мы вели непрерывный бой с численно превосходящим противником. Я лично работал на пулемете. 24 сентября в полдень я был ранен в предплечье левой руки.

До 18 ноября 1941 года я находился на излечении в ленинградских госпиталях.

С 18 ноября по 28 ноября 1941 года снова участвовал в боях с немцами на том же Ленинградском фронте рядовым 1 ударного батальона 225 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии (командир дивизии – полковник Виноградов).

28 ноября утром при наступлении полка (названия роты не знаю, ибо в бой вступили перед утром прямо с марша) я был вторично тяжело ранен. Разрывной пулей у меня пробило обе ноги в верхней области бедер.

В связи с этим ранением до 1 половины февраля 1942 года я находился на излечении в госпиталях Ленинграда (№ последнего госпиталя – 161-а, помещался в здании исторического факультета ЛГУ), после чего был эвакуирован в тыл».

Лечение продолжалось в эвакогоспитале г. Сокола Вологодской области. 10 апреля 1942 года Ф. Абрамов вышел в отпуск по ранению. Три месяца он работал преподавателем в своей родной школе (с. Карпогоры), вместе с земляками трудился на колхозных полях, делил лише-

ния и невзгоды самого тяжелого второго военного лета. Однако уже 27 июля Ф. Абрамов возвращается на военную службу. Полученные ранения не позволяют ему вернуться на фронт. С 27 июля 1942 по 1 февраля 1943 года в должности заместителя политрука роты Абрамов служит в 33-м запасном стрелковом полку Архангельского военного округа. С 1 февраля 1943 года старший сержант Ф. А. Абрамов – помощник командира взвода Архангельского военно-пулеметного училища.

В 1942 году Абрамов был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Он имел боевой опыт пулеметчика и начало высшего классического образования. Наличие таких достоинств делало его заметным человеком в училище. Из комсомольской характеристики Ф. Абрамова того периода:

«Абрамов Ф. А., находясь в А. В. П. училище, показал себя только с лучшей стороны. С первых же дней пребывания в роте Абрамов проводил большую политико-воспитательную работу. Он, как комсомолец, был выделен взводным агитатором. Его беседы и лекции пользовались большим авторитетом среди личного состава роты как одного из лучших мастеров слова (выделено мною. – А. К.)... Дисциплинирован, выдержан, комсомольские поручения выполняет аккуратно и добросовестно. Взысканий не имел. Являлся одним из лучших командиров. Морально выдержан, политически устойчив».

Стоит ли говорить, что органы контрразведки, стоящие перед проблемой острого кадрового голода, не могли не заметить молодого перспективного командира, имеющего пусть незаконченное, но классическое образование ЛГУ и опыт участия в боевых действиях. Еще одним безусловным достоинством кандидата на службу в контрразведке являлось знание им иностранных языков. Заполняя «Анкету специального назначения работника НКВД», в графе «Какие знаете иностранные языки» Абрамов указал: «Читаю, пишу, говорю недостаточно свободно по-немецки. Пишу и читаю по-польски».

17 апреля 1943 года старший сержант Ф. А. Абрамов принимает военную присягу и поступает на службу в Отдел контрразведки НКО «Смерш» Архангельского военного округа (г. Архангельск). Начинает он с должности помощника оперативного оперуполномоченного резерва. Наличие способностей и хорошего образования позволяет ему в короткий срок подняться на несколько ступенек служебной лестницы: уже в августе 1943 года Абрамов становится следователем, а в июне 1944 – старшим следователем Следственного отделения Отдела контрразведки НКО «Смерш» Архангельского военного округа.

Служебные и партийные документы, имеющиеся в личном деле Федора Александровича, отличаются типичностью и не могут отразить свойств характера молодого Абрамова. Не раскрывается в них и содержание его работы в контрразведке. Приведем выдержку из служебной характеристики на старшего следователя Отдела контрразведки «Смерш» Беломорского военного округа лейтенанта Ф. А. Абрамова от 11 июля 1945 года:

«Тов. Абрамов всесторонне развит, достаточно грамотен, следственно-оперативную работу любит, вкладывает в нее много ума и изобретательности.

Усидчив и настойчив. В работе объективен и требователен. Систематически работает над повышением общеобразовательного уровня и своей квалификации.

В морально-бытовом отношении выдержан. Среди оперативного состава пользуется авторитетом. Физически здоров».

Приведенный документ составлен уже на последнем этапе службы Абрамова в контрразведке. Однако есть в личном деле документ, подготовленный меньше чем через месяц после зачисления Абрамова на службу, раскрывающий человеческие качества молодого контрразведчика. История его такова: в одной из бесед с сослуживцами в самом начале своей службы в органах «Смерш» Абрамов высказал сомнения в целесообразности конспектирования приказов главнокомандующего И. В. Сталина, поскольку это отнимало много времени и сил при ежедневном напряженном, изматывающем режиме работы. В те годы замечание Абрамова не

могло остаться без внимания. В объяснении, подготовленном Абрамовым при проведении разбирательства, угадывается смелая, живая, творческая натура:

«...приказ тов. Сталина является квинтэссенцией мысли, каждое предложение, каждое слово его заключает в себе столь много смысла, что в силу этого необходимость конспектирования приказа в принятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Сталина представляет собой совокупность тезисов, дающих ключ к пониманию основных моментов текущей политики, и что каждый тезис может быть разработан в авторитетную публицистическую статью. В том же разговоре я обратил внимание собеседника на изумительную логику сталинских трудов вообще, что не всегда можно найти в речах Черчилля и Рузвельта, на сталинский язык, обладающий всеми качествами языка народного.

Что касается изучения приказа тов. Сталина лично мною, то я внимательно прочел его 4 раза и, по совету тов. Р., тщательно законспектировал.

Приказ тов. Сталина внес ясность в мое понимание международной обстановки».

Трудно сказать, как воспринимались эти слова без малого 60 лет назад, однако сегодня их нельзя читать без улыбки. Полагаю, что и в 1943 году руководство отдела, выполнив необходимые формальности по проведению краткого разбирательства, прекрасно понимало надуманность и нелепость выдвинутых против Абрамова обвинений и оценило находчивость молодого помощника оперуполномоченного. Именно такие люди, незашоренные идеологическими догмами, не боящиеся пойти против авторитетов, «вкладывающие в дело много ума и изобретательности» были и остаются необходимыми на службе в контрразведке.

Далее в указанном документе Абрамов сетует: «Поручаемая мне работа большей частью была механическая. Понятно, что я, будучи по своему характеру сангвиником, не всегда находил в ней удовлетворение ... и думаю, что в ближайшем будущем мне предоставят более живую работу, соответствующую моему характеру...» Уточним лишь, что при этом не прошло и месяца после поступления Абрамова на службу в органы «Смерш», ему 23 года. По результатам проверки непосредственным начальником Абрамова капитаном К. были высказаны пожелания руководству отдела: «Перевести т. Абрамова на более живую оперативную работу. На это у него достаточно личных качеств».

Полагаю, не будет ошибкой сказать, что важным событием в жизни Абрамова стало его принятие в кандидаты, а затем и в члены ВКП(б) парторганизацией ОК НКО «Смерш» АрхВО. В марте 1944 года он становится кандидатом в члены партии, а в марте 1945 года – членом ВКП(б).

Одним из штрихов биографии Абрамова тех лет является встреча в Архангельске и сопровождение на родину, в Верколу, в августе 1943 года брата Василия, направляющегося домой в долгосрочный отпуск после тяжелого ранения. 20 августа 1943 года в адрес Абрамова, по месту службы: «АРХСК П ВИНОГР 55», приходит краткая телеграмма: «ВЫЕХАЛ КОТЛАСА ПАРОХОДЕ ДОБРОЛЮБОВ ВСТРЕЧАЙ ВАСЯ». На рапорте с просьбой о предоставлении краткосрочного отпуска с 23 августа 1943 года для сопровождения тяжело раненного брата стоит резолюция: «Разрешаю на 18 дней». Срок обусловлен дальней и непростой дорогой до Верколы, на что указывает сам Абрамов: «Минимальный срок, необходимый для поездки на мою родину (д. Веркола Карпогорского района Арх. обл.) и обратно – 18 дней (из расчета, что передний рейс заберет минимум 7–8 дней: расстояние от Архангельска до Верколы – 500 км, из них 200 км водой – 2–3 дня, 300 км лошадами – 4,5–5 дней)». Сведения о том, состоялась ли эта поездка в действительности, в деле отсутствуют.

Как было указано выше, содержание работы лично Абрамова и всего Отдела контрразведки НКО «Смерш» Архангельского военного округа не отражено в имеющихся в личном деле документах. Безусловно, что эта тема заслуживает стать предметом особого исследования. Пока же, дабы получить представление о работе органов «Смерш», можно обратиться к став-

шей уже классической повести В. Богомолова «В августе 44-го». Речь в ней идет о выявлении и захвате группы немецких диверсантов в Западной Украине, однако широко известно, что и на Карельском фронте, и в Архангельской области – территории, оперативно обслуживаемой данным ОКР «Смерш», заброска немецких диверсионных групп была совсем не редкостью.

Ш. Галимов в своем исследовании жизни и творчества писателя отмечает:

«Федор Абрамов не любил рассказывать о своих окопных буднях и фронтовых переживаниях. ... Военную тему он оставил на потом, как возможный последующий этап своего творчества. Но так и не подошел к ней» (Галимов Ш. Федор Абрамов: Творчество, личность. Архангельск, 1997. С. 16). Можно дополнить, что и служба в контрразведке не нашла значительного отражения в произведениях Абрамова. А ведь большую половину военного лихолетья, 2,5 года, он служил в органах «Смерш». В 6 томе собрания сочинений Ф. А. Абрамова (Санкт-Петербург, 1994 г.) опубликованы «наброски разных лет» под общим названием «Кто он?». Наброски носят, безусловно, автобиографический характер, на что указывает ряд деталей. Герою Абрамова свойственны поиск справедливости, острое сопереживание человеческой судьбе. В стремлении не допустить осуждения невинного он идет на риск своей карьере и своему будущему, но добивается того, что найден истинный, а не мнимый предатель, на которого указывали многочисленные улики.

Возможно, одной из причин долгого молчания на эту тему и отсутствия прижизненного издания этих заметок является данное Абрамовым при поступлении на службу в ОК НКО «Смерш» АрхВО письменное обязательство: «Хранить в строжайшем секрете все сведения и данные о работе органов и войск НКВД, ни под каким видом не разглашать их и не делиться ими даже со своими ближайшими родственниками и друзьями...».

Впереди были полгода войны, но Абрамова не оставляло стремление к знаниям. 27 ноября 1944 года он представляет рапорт на имя начальника ОК ОКР «Смерш» АрхВО майора Рудиченко, в котором высказывает намерение поступить на заочное обучение в Архангельский педагогический институт, в связи с чем просит запросить руководство отдела документы об окончании им трех курсов филологического факультета ЛГУ. Такой запрос в ЛГУ был направлен.

Прошел без малого год. Отгремел салют победы. К Мавзолею на Красной площади были брошены стяги поверженных немецких боевых соединений. Советские люди возвращались к мирной жизни. В августе 1945 года в адрес начальника ОКР «Смерш» Беломорского военного округа генерал-майора Головлева приходит долгожданный для Абрамова ответ ректора Ленинградского государственного университета профессора А. А. Вознесенского, в котором он категорично просит «направить для завершения образования бывшего студента 3-го курса филологического факультета... т. Абрамова Федора Александровича...»

Безусловно, профессор Вознесенский не ошибся, по окончании университета Абрамов поступает в аспирантуру и уже в 1951 году защищает кандидатскую диссертацию, с 1956 по 1960 год он заведует кафедрой советской литературы ЛГУ. С 1960 года Ф. Абрамов целиком посвящает себя художественному творчеству. Так и не состоялась возможная учеба Абрамова в стенах Архангельского государственного пединститута, но состоялся ученый-филолог и большой писатель, воспевший красоту северной земли и своих земляков, совершавших ежедневный подвиг в годы войны и послевоенных лишений.

Из приказа начальника Отдела контрразведки «Смерш» Беломорского военного округа генерал-майора Головлева от 2 октября 1945 года за № 153:

«На основании закона о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии от 23 июня 1945 года увольняется из кадров Красной армии в запас по ст. 43 пункт «а» положения «О прохождении службы командным и начальствующим составом Красной армии», утвержденного постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 сентября 1935 года – стар-

ший следователь ОКР «Смерш» БелВО лейтенант Абрамов Федор Александрович... (далее следуют установочные данные. – А. К.).

Зачисляется на учет по Ленинградскому Облвоенкомату. Аттестуется отлично.

Увольняется для завершения высшего образования».

22 октября 1945 года увольнение Ф. Абрамова из органов военной контрразведки подтверждено приказом начальника Главного управления контрразведки «Смерш» генерал-полковника Абакумова.

Так закончилась карьера Абрамова – контрразведчика. Начинался долгий, плодотворный путь писателя, принесший ему мировую славу, а нам, его землякам, невольное чувство почти родственной связи с абрамовскими героями и сопричастности с подвигом, совершенным этим поколением.

6 августа 2002 года сотрудники Регионального управления побывали на родине писателя в д. Веркола, поклонились его могиле и передали пакет с документами из личного дела сотрудника ОК «Смерш» Абрамова музею его имени. Среди документов: партийные и комсомольские характеристики, автобиография, личная корреспонденция, документ «Обстоятельства моих ранений», документы, связанные с восстановлением Абрамова на учебу в Ленинградском государственном университете, выписки из приказов об увольнении Абрамова из ОКР «Смерш» Беломорского военного округа. Копии документов были вручены вдове писателя Людмиле Владимировне Крутиковой-Абрамовой. Акция стала одним из заметных событий культурной жизни области в 2002 году, привлекла к себе большой интерес центральной и региональной прессы. Впервые в распоряжении общественности, любителей и исследователей творчества писателя оказались уникальные документы – свидетели военной поры, открывающие завесу над малоизвестным периодом в жизни нашего великого земляка.



## КОММЕНТАРИИ

### В сентябре 1941 года

*Впервые: Вечерний Петербург. 1994. 21 янв.*

Этот рассказ хранил Федор Абрамов в своем архиве как «первую пробу пера». Несомненно, в нем ощутима еще писательская неопытность. Но рассказ представляет интерес и как первый опыт писателя, и как документальное повествование об осенних боях 1941 года под Ленинградом, как свидетельство человека, который будучи в студенческом отряде народного ополчения сам пережил ту страшную осень, испытал все тяготы и ужасы ожесточенных боев, когда погибали сотни безоружных товарищей.

Сам Абрамов в зрелые годы признавался, что в первом рассказе он отдал дань дешевой романтике в том эпизоде, когда герой утоляет жажду девушки своей кровью.

В архиве Абрамова сохранился вариант начала рассказа:

«Я с моим приятелем лейтенантом, недавно вышедшим из госпиталя, лежали на пляже.

День был выходной. Жизнь в значительной мере выплеснулась сегодня на песчаные берега Сев. Двины. Знойный, дымящийся от тепла песок был облеплен фантастической смесью коричневых и белых, сильных и тощих тел, невероятным разнообразием трусов и волос. Немая тишь сковала голос и тело. Распятые жарой, залитые и ослепленные белым солнечным дождем люди, как подышающие рыбы, судорожными глотками хлебали горячий воздух.

Было удивительно хорошо, если с реки потянет соленым приморским ветерком. Но Двина, как очарованная Даная под ласками солнечного Юпитера, беззвучно впитывала в себя небесное молоко. Маленькие яхточки с белыми парусами, бороздившие ее, казались белыми башенками, влитыми в белый жидкий свинец воды. Все тонуло в безграничной удушливой синеве. Как обычно в августе, пахло дымом и гарью.

Люди на пляже группировались сообразно своим вкусам и склонностям. Но мы с приятелем лежали одни молча и ни о чем не думали, изредка переставляя бока под обжигающую муть солнца. В голове ни одной мысли. Находишься в каком-то жутком и приятном плену гиперболизма(?). Кажется, что тело твоё разорвало свою природную оболочку и приняло невероятные размеры. Какая-то сила отрывает тебя от земли и ты качаешься и плывешь под бездонным небесным парашютом.

Мой приятель лейтенант, после того как потерял на войне руку, стал угрюмым человеком. Ему был 21 год. Среднего роста, с широкой грудью и узким тазом, он производил впечатление атлета. И это правильно: до войны в Ленинграде он брал не один приз по плаванию. Серые большие глаза, прямые густые ресницы, пепельная шевелюра волос, прямой выпуклый подбородок и какой-то девический овал лица – словом он был красив. Истории его пустого рукава я не слышал. Об этом он не любил распространяться. Как-то между прочим он сказал мне, что руку потерял совершенно нелепо. Это вызвало во мне любопытство, но, зная характер моего друга, я сдерживался.

Мы уже собирались уходить, когда напротив нас из воды (а мы лежали почти у самой воды) вышли на берег две русалки и стали выжимать мокрые волосы. Я заметил, что у одной была тоненькая фигурка, затянута в черное с белыми полосками шелковое трико. Смуглые ноги были удивительно правильной формы и маленькие полные ручки казались точеными. Подруга ее была значительно пространнее, но производила также приятное впечатление. Ее высокое белое развитое тело, белое трико и белокурые волосы служили хорошим фоном для ее маленькой подруги.

Само собой, я и мой приятель обменялись с ними парой шуток, а потом запросто предложили присесть. Девушки присели. Мой приятель, в прошлом поклонник донжуанщины, отряхнулся от скуки и, почувствовав себя в знакомой сфере, завел разговор. Лени как не бывало. Впрочем, я был вне разговора. Я все еще видел выход из воды этих двух наяд и с раскрытым ртом рассматривал водяные существа.

Маленькая русалка (ее звали Леной), у нее были синие-синие глаза и русые, волнистые волосы. С полуоткрытого рта с мелкими зубами еще не спала детскость. Ей было лет 18. Ее лицо с нежным румянцем, тоненькая шея и энергичный подбородок были облиты, как и все тело, ольховым загаром. Из мокрого блестящего трико выпирали маленькие тугие груди. Когда я стал рассматривать ее руки, маленькие с тоненькими пальцами, я заметил на правой руке, выше локтя, большой шрам.

Лена, когда она даже молчала, – а голос у нее был мягкий, бархатный, обладала какой-то невидимой вдохновляющей силой. Поэт нашел бы в ней живое вдохновение.

Подруга Лены, Клава, казалась ожившей статуей. Белая, она была вся в белом. Глаза у нее были совсем редкие – прозрачные, как вода.

Пока я рассматривал девушек, мой приятель и они перешли на «ты».

Война проникает во все щели жизни, даже в знакомства. Разговор зашел о войне, и когда были исчерпаны все общие темы, касающиеся войны, Лена попросила рассказать моего приятеля историю своего ранения. Тот было насупил брови, замолчал, но, размякший под ласковым взглядом Лениных глаз, сдался (уступил).

## **Из фронтовой жизни**

### **Рассказ земляка**

*Впервые: Аврора. 1993. № 5.*

Наброски к рассказу были сделаны в записной книжке за август 1958 года. В черновых заметках был еще другой вариант названия – «О бестолковщине на войне».

### **Белая лошадь**

*Впервые: Санкт-Петербургские ведомости. 1993. 8 мая.*

Почти сорок лет вынашивал Абрамов повествование о первых днях войны под Ленинградом, о студентах-ополченцах, их трагической судьбе. Будучи студентом третьего курса, он тогда тоже ушел добровольцем в народное ополчение, был дважды ранен, лежал в блокадном госпитале и лишь весной 1942 года по Дороге жизни был вывезен на Большую землю. Всю жизнь хранил писатель память о погибших товарищах, их судьбой выверял свое поведение, не раз говорил: «Они, и мертвые, помогают нам жить».

Первые наброски к рассказу сделаны в 1958 году, последний – в 1980 году. Более двадцати лет раздумий. Более двухсот рукописных страниц, вырезки из газет и журналов о подвигах и умонастроении довоенного поколения хранятся в архиве писателя. Наиболее интересные заметки и варианты рассказа даны в приложении, в собрании сочинений Ф. Абрамова, т. 6.

С годами менялся и углублялся замысел, рассказ перерастал в повесть. Кульминационным стал 1975 год – тридцатилетие Победы. Тогда сделано большинство заметок.

4 и 5 февраля 1975 года – важнейшие записи в дневнике: «Самое большое событие дня – нашел композицию «Белой лошади». Двадцать лет мучился этим рассказом... Увы, рассказ получается непечатным... Главная мысль: какие уроки сделали мы из войны? Достойны ли

памяти погибших? И потому это не столько рассказ о войне, сколько о мире, о нас, выживших в войне. Вот это будет по-новому. Так к войне еще никто не подходил... это уже не рассказ, а повесть».

Первоначально в 1958 году рассказ был целиком посвящен личности и судьбе Семена Рогинского, нашего сокурсника, талантливого участника художественной самодеятельности. Чтение им героико-романтических сцен и монологов из книг Ростана, Шиллера, Джека Лондона всегда завораживало аудиторию.

Первые наброски так и названы: «Рогинский», «Рассказ о Рогинском», «Светлой памяти Семена Рогинского, человека с задатками великого артиста». Писатель подробно изображал, как Рогинский на студенческом вечере 1 мая 1941 года читал рассказ «Мексиканец». Затем – фронтовые будни, исчезает ореол героики, но затем героическое начало берет верх. Рогинский бросился спасать по минному полю подорвавшуюся лошадь. Рассказ заканчивался фразой: «Да, это был бы артист великий. Кажется, Эренбург сказал: наши главные потери – таланты».

12 ноября 1958 года Абрамов уже критикует себя: «Первоначальный замысел – надо ли быть (хоть в потенци) героем, чтобы сыграть героическую роль – никуда не годится. Это иллюстративно». А дальше определяет главную суть рассказа:

«Рассказ о Рогинском – это рассказ о поколении, которое вынесло главную тяжесть войны. Огромная, окрыляющая душу вера и полная непригодность к практической жизни. Сильны духом и слабы телом. Силен духом и не готов телом. В этом ведь все дело. Это характеризует Россию накануне войны в целом. Огромный накал чувств, возмущенность духа и полная материальная неготовность. Отсюда колоссальные жертвы в первые два года.

Рогинский в общем-то напрасная жертва. Жертва нашей непригодности и неготовности, жертва русской безалаберности и шапкозакидательства. Да, в Рогинском привлекает именно накал патриотических, героических чувств, который характеризовал наше поколение».

Все последующие годы шло углубление социально-философского смысла рассказа, трагических событий Отечественной войны.

«17. X.1960

Война. Карельский перешеек. Первое пробуждение от сна. Неподготовленность. Фронт. Командует фельдфебель. А где же армия? Где же наши боевые командиры, о которых мы пели в песнях? Нет, не так представляли мы себе войну.

Мысль рассказа: крушение идеализма поколения 30-х годов в войне. Первое отрезвление. И все-таки: красота, великая красота людей моего поколения, чем-то напоминающих юность декабристов, но декабристов (романтиков), вышедших из народа...»

Название рассказа – «Белый конь» – впервые появилось в заметке от 25 ноября 1962 года. Первые варианты рассказа датированы 18 и 19 октября 1967 года.

1 декабря 1971 года появляется вариант концовки: «30 лет прошло с тех пор, как это случилось на хуторе возле маленькой деревушки со странным названием Пицдузи. А у меня перед глазами и сейчас стоит белая лошадь. И стоит Рогинский, стоят мои товарищи по университету (сверстники), которые защищали в 1941 году Родину... И они не стареют. Потому что подвиг не стареет».

В 1975 году Абрамов значительно углубляет рассказ, соотносит подвиги погибших товарищей с современностью. Появляются заметки о Сталине, о докладе Хрущева на XX съезде, о хрущевской оттепели, о праздновании 30-летия Победы. Он возмущался плакатным, облегченным изображением войны в литературе, в скульптурных памятниках. Особенно повергали его в уныние официозные празднования Дня Победы.

Сохранилась черновая запись после одного из писательских собраний, посвященного Дню Победы. Абрамов выступил резко против доклада, в котором уравнивались подвиги фронтовиков и тех, кто вдали от боев читал лекции и писал пропагандистские статьи (Л. Плоткин, Д. Молдавский). Абрамова никто не поддержал, а Молдавский обвинил его даже в анти-

семитизме. Тогда он и записал: «Так вот для любителей всякого рода спекуляций: Абрамов не антисемит. Он свято чтит память друзей-евреев и ненавидит евреев-ташкентцев, тех, кто отсиживался в войну. Хорошая формула: никто не забыт. Нельзя забывать подвиги. Но нельзя забывать и подлость человеческую, тех, кто отсиживался в войну. Короче, нельзя уравнивать подвиг человека жертвующего и подвиг человека, спасающего свою шкуру».

Вспоминая погибших, писатель все чаще и чаще думал о поведении оставшихся в живых.  
«19. XI.1978

Проблема из проблем: выполняем ли мы свой долг перед павшими? Они отдали жизнь, стояли насмерть, а мы? Не разжирили ли? Не переродились ли? Что делаем? Как себя ведем?

Увековечить ребят в мраморной доске надо. Но достаточно ли этого? Самый ли главный памятник павшим?

Главный памятник павшим – наши дела сегодня, наше поведение. Выдержали ли мы экзамен? И не тяжелее ли выдержать проверку жизнью (долгой), чем проверку войной?

И еще: а те, что пали, какими бы они были сегодня? Не такими ли, как мы, живые?»

Набросок от 2 февраля 1979 года свидетельствует, что писатель хотел ввести в повесть разные судьбы сокурсников, хотел показать, что и в нашем поколении были самые разные люди, способные и к подвигу, и к предательству, и к приспособленчеству.

Подтверждение своим размышлениям о нашем поколении Абрамов находил во многих документальных материалах (юношеских письмах, дневниках, стихах), которые публиковались в газетах и журналах. Газетные вырезки и журналы испещрены авторскими пометками, подчеркиваниями, а иногда и комментариями.

На публикации из дневников и писем Кубанова («Комсомольская правда». 1960. 16 окт.): «Вот один из моего поколения! Великий полет в будущее, беспредельная любовь к людям, нравственная чистота и полное непонимание жизни. Итог: убит. Да, по своему идеализму, по своей окрыленности мое поколение не уступало декабристам. А сейчас? Что за поколение растет? Чем живет?»

На статье о поэтах, погибших в войну («Литературная Россия». 1975. 25 апр.): «Читай поэтов нашего поколения и узнаешь душу С. Рогинского. Силой артиста, его голосом говорило и кричало поколение. Неукротимое, яростное, чистое».

На одной из статей, повествующей о гибели молодой девушки, Абрамов подытожил свое отношение к нашим сверстникам: «Какие мы были чистые, возвышенные! Было ли еще такое поколение? Но и ограниченные».

## Потомок Джима

*Впервые: Правда. 1983. 17 дек.; Север. 1984. № 10.*

Последний рассказ, написанный в апреле 1983 г. после беседы в Петергофе с Е. Г. Михайловой (см. подробнее в кн.: «Воспоминания о Федоре Абрамове» М.: Сов. Писатель. 2000, стр. 107–108.) Последние поправки в беловую рукопись рассказа Абрамов внес буквально накануне операции 11 мая 1983 года.

*...красавец доберман пинчер.* – Дальше в беловой рукописи было: «...который по семейному преданию доводился чуть ли не праправнуком знаменитому Джиму, воспетому поэтом. Помните: «Дай лапу мне на счастье, Джим»? (Речь идет о стихотворении С. Есенина «Собаке Качалова», однако цитата Абрамовым приведена по памяти, неточно. У Есенина: «Дай, Джим, на счастье лапу мне»).

Название рассказа связано с этим исключенным отрывком.

## Разговор с самим собой

### Незавершенная повесть

*Впервые в отрывках и под названием «Герой и жертва»: СанктПетербургские ведомости. 1994. 22 янв.*

Толчком к замыслу повести послужил рассказ писателя А. Сапарова о неожиданной встрече с приятелем-фронтовиком (военным газетчиком), о его жизненных невзгодах, трагической судьбе.

Под впечатлением услышанного Федор Абрамов в тот же день – 14 ноября 1961 года – сделал пространную запись в записной книжке под названием «Судьба человека». В истории газетчика писателя поразили и фронтовая биография, и увольнение из газеты, и судьба сына, чудом спасенного в блокадные дни, а через пятнадцать лет приговоренного к расстрелу за убийство в драке, и новое увольнение газетчика с работы из-за сына... Подводя итоги, Абрамов замечал: «И, наконец, самое удивительное в этой истории – отец (газетчик), несмотря на все испытания и невзгоды, остался коммунистом. Вот о чем надо писать – широкая тема. Это относится и к тем, кто безвинно просидел в лагерях 18 лет и тем не менее не проклял советской власти. Потрясающий роман из эпохи социализма! И вот как можно было бы начать рассказ».

Дальше автор конспективно излагал содержание четырех глав будущей повести, делая акцент на воспоминаниях писателя о фронтовой работе газетчика, о последней встрече с ним и чувстве вины за равнодушие к судьбе товарища, который, как оказалось, кончил жизнь самоубийством.

Через несколько дней – 20 ноября – Абрамов снова возвращается к повести, делает многостраничные наброски, уточняет план, намечает даты встреч писателя с газетчиком (1941, 1953, 1956), вводит много новых подробностей. А главное – осмысляет открывшуюся ему масштабность и глубину фигуры главного героя, его взаимосвязь с эпохой, с великими победами и преступлениями.

«Газетчик – рядовой работник газеты (вероятно, не редактор). Это самый распространенный тип человека сталинской эпохи.

Он силен – слепо идеен и предан, целеустремлен, все для дела (жертвенность). И в то же время ограничен – в этом его слабость.

Он – ключ к пониманию эпохи. Благодаря его особым идейным качествам нам удалось сделать многое, выиграть войну – несмотря на все жертвы! Но благодаря же ему оказался возможным культ со всеми безобразиями и преступлениями.

Поразительно. Он оправдывает решение парторганизации о снятии его с работы. Да, как индивидуум он понимает всю несправедливость решения, но как коммунист он понимает, что товарищи его не могли поступить иначе. Ведь точно так же поступил бы и он. Газетчик живет и все определяет нормами партийной этики сталинского периода. В этом весь ужас: в душе он осуждает ее, понимает жестокость, но сам он, решай подобные дела, придерживался бы той же этики.

Новый редактор газеты удивляется: почему он покончил с собой? Ведь он же согласен был с решением.

Как покончил с собой газетчик. Не надо в лоб (повесился). Всего скорее он попал под трамвай, хотя все странно: на трамвайные рельсы он попал неожиданно (налицо все признаки самоубийства). Он и из жизни ушел без протеста. Так, чтобы его самоубийство можно было расценить как случайное. Вот какие роботы были сделаны в сталинскую эпоху».

Абрамов излагает дальше размышления журналиста о газетчике. О его признании правильности решения о снятии его с работы, о его смерти. «Этот факт новым светом осветил для него газетчика. Тутто он и сказался весь. И журналист наконец понял его. Он предстал пред ним наконец-то в истинном свете (со всеми сильными и слабыми сторонами). И он начал понимать многое. Что-то большое, проливающее свет на эпоху, прошло над ним».

И тут же Абрамов делает для себя обобщающие выводы, определяет пафос, смысл будущей повести. «Мораль рассказа: что было у нас, что должно остаться от прошлого и что не должно быть. Суд над эпохой».

А позднее карандашом сделана еще одна важнейшая запись:

«Задача – вырвать культ из сердца человека».

В одной из последних глав (разговор с редактором) Абрамов еще раз заставляет журналиста осмыслять личность газетчика, его связь с эпохой:

« – Я напишу об Ивахине, – сказал журналист. – Вы даже не представляете, что это был за человек. Видите ли, Ивахин... – Он махнул рукой. Но про себя вдруг понял, что Ивахин, этот чудаковатый хлопотун, преданный коммунист, способный в любую минуту пожертвовать собою ради идеи и в то же время ограниченный, недалекий, слепо, беспрекословно подчиняющийся авторитету, может быть, и есть отгадка всего того, что произошло у нас, объяснение нашей силы и безобразий в прошлом».

В конце заметок, сделанных в тот день, в разделе «Заключение» писатель еще раз варьирует размышления журналиста об Ивахине – Анохине. Он еще не представлял, что скажет о нем, как напишет и сумеет ли он осмыслить – ведь Анохин не передовой, а он только положительное умеет изображать. Но он чувствовал, что в этом Анохине, быть может, ключ к тому, над чем он много и много думал в последние дни. И даже, может быть, через Анохина ему удастся понять своего сына, почему тот оттолкнулся от него. ... Опять Анохин встал в его памяти, который властно притягивал к себе, странная мешанина великого и ничтожного, неподводимая ни под какие рамки ни положительного, ни отрицательного героя.

Сможет ли он это сделать. И маленькая тема Анохина вдруг стала сложной и большой.

В судьбе, поведении и характере газетчика Абрамов почти сразу уловил трагедию человека, который был одновременно героем, жертвой и даже виновником происшедшего в нашей стране в довоенные и послевоенные годы.

#### 10. XII.64

«Редактор пренебрежительно называет Анохина винтиком сталинским. Сойманов не согласен. Анохин – человек идеи. Он отдавал идее себя целиком. Всем жертвовал. Одержим.

А может ли такой человек покончить с собой? Может. Нечем жить.

– Да, в последние годы, – говорит редактор, – он вообще был какой-то растерянный (после 56 г.). Отошла эпоха Анохина. Из-под него выбили какие-то устои. Постарел. Очень. Вы не видели его в последнее время? Так что причина смерти – не один сын».

Через десять лет, в 1975 году, Абрамов делает еще одну запись о причине гибели Анохина: «Трагедия героя. Утрата веры и смерть. Соотнести с Твардовским, с Берггольц». В тот же день – 19 ноября – он размышлял в дневнике о трагедии О. Берггольц и Твардовского: «Долго, долго не давала мне покоя Берггольц... А сегодня я, кажется, понял, что такое Берггольц. Трагический человек, потерявший веру и всеми силами старающийся удержать ее. И только ли это трагедия О. Б.? А Твардовский? Разве не то же самое?.. Заколдованный круг, из которого под силу выйти только гению! и причина запоя Б.?»

Социализм, коммунизм в их первоизданном виде – это прекрасно. Социализм – знамя эпохи. Вот и трагедия. Тот социализм, который есть, не приемлю. Но в то же время без социализма нет жизни. И отсюда заклинания, заклинания о верности молодости романтической, идеалам прошлого... Да, это тема большой вещи. Может быть, в «Разговоре с самим собой»

удастся что-то рассказать. Ведь в сущности мой герой гибнет тоже из-за того, что не может примириться с утратой веры...»

Федор Абрамов, сам участник боев за Ленинград, студентополченец, вынесший все тяготы и крестьянского колхозного лихолетья, и студенческого полуголодного существования, все послевоенные годы неотступно думал о судьбе России, о судьбе народа, который выиграл войну, победил фашизм, а в повседневном быту после победы влачил жалкое существование, недостойное народапобедителя. В чем причины? Где корень зла? Кто виноват? Что делать? Как помочь стране и народу? Эти вопросы мучили его всю жизнь.

Писатель возлагал ответственность за происшедшее не только на правящие верхи, на партийную элиту, на диктатуру. Он думал и об ответственности народа за свою судьбу.

О достоинствах и недостатках народа, о многоликости, о разнородности его состава, о подвижничестве и совестливости одних, о корыстолюбии, приспособленчестве, цинизме, карьеризме других – повествуют все книги Абрамова: романы, повести, рассказы, публицистика.

Задуманная повесть «Разговор с самим собой» вызревала в русле тех же нелегких раздумий. Причем чуть ли не впервые судьба рядового человека соотносилась с поведением интеллигентов, ответственных за просвещение народа. Недаром писатель вынашивал повесть так долго.

Первый вариант был создан осенью 1963 года. А затем на протяжении пятнадцати лет – до 1978 года – чуть ли не ежегодно появлялись многочисленные заметки, наброски, углубляющие и расширяющие рамки повествования. Если в первом варианте главное место занимала судьба газетчика Анохина, то в дальнейшем Абрамов хотел столь же укрупнить другие фигуры повести. И прежде всего – журналиста-писателя Сойманова, в судьбе и психологии которого отражалась трагедия интеллигентных слоев нашего общества, тех, которые, в отличие от непросвещенных и одураченных лживой пропагандой масс, постепенно прозревали, видели пороки существующего режима, но все-таки шли на компромисс, боясь за свое хоть и мизерное материальное благополучие.

Сойманов предстал бы в повести тоже сложной личностью. Приведу несколько заметок о нем, сделанных Абрамовым в разные годы. «Сойманов – думающий. Но он промотал талант. У него не хватило мужества сражаться за истину». «Он был из запуганного поколения. Он боялся показать жизнь, которую прожил, так, как она была. Выдумывал, подкрашивал, утешал себя тем, что так надо, так требует партия, а партия – святыня».

Именно Сойманов должен был вести в повести «разговор с собой», когда у него пробудились мысль и совесть. «Долго, чуть ли не всю жизнь откладывал этот разговор Сойманов. Но разговор с собой не отложишь – он должен состояться... Разговор с самим собой. К сожалению, запоздалый разговор. Хватит ли у него сил начать все с начала? Объявить войну самому себе. Самую тяжелую войну из всех войн, которые знал человек». Сойманов должен был осмыслять не только трагедию Анохина, но и свою собственную.

## Кто он?

### Фрагменты незавершенной повести

*Впервые: Знамя. 1993. № 3.*

Повесть «Кто он?» или, как иногда называл ее писатель, «повесть о следователе» – наиболее значимое и сложное произведение из задуманного цикла о войне. Разнородный рукописный материал сохранился лишь в многочисленных черновых заготовках, набросках и вариантах.

Заметки – самые разноплановые. Сюжет, судьбы и характеры героев, детали быта и нравов в контрразведке военных лет, служебные и личные взаимоотношения, методы ведения следствия, атмосфера всеобщего страха и подозрительности, чиновничества, автобиографические подробности из жизни главного героя, его мечты, унижения, сомнения, духовное возмужание. А кроме того – поиски формы повествования, отказ от первоначального чуть ли не детективного построения повести, решение вести рассказ в форме исповеди-воспоминания, чтобы была возможность осмысливать прошлое с позиции умудренного зрелого человека. Таков далеко не полный перечень содержания авторских заметок.

О значимости замысла свидетельствует дневниковая запись 30 ноября 1976 года: «Роман о прошлом и повесть о следователе будут мои лучшие вещи». Роман о прошлом – «Чистая книга» – сомнений не вызывал, это была бы поистине его вершинная вещь. Но повесть «Кто он?». Почему ее так высоко ставил писатель? Ведь к 1976 году были созданы «Пелагея», «Деревянные кони», десятки рассказов, над романом «Дом» он уже работал тогда.

Я хорошо знала сюжет повести о следователе. Федор Александрович не раз рассказывал мне и близким друзьям, как он вел в контрразведке расследование по делу брянского партизана и его жены, как установил их невиновность, добился освобождения. При этом его особенно поразила личность того человека, который был повинен в гибели партизанского отряда, им оказался бывший раскулаченный. Характеры были колоритными, а сюжет – необычен для Абрамова. Но все это не убеждало, что повесть станет лучшей в его творчестве. Тогда я обратилась к сохранившимся авторским записям и наброскам, пыталась в них найти ответ, почему Абрамов так высоко оценил задуманную повесть.

Многие записи-воспоминания носят явно автобиографический характер и позволяют хотя бы отчасти дать истинное представление о работе Абрамова в «Смерше», развеять бытующие кривотолки.

Писатель не раз в заметках подчеркивал невыдуманность, жизненную достоверность и автобиографическую основу повести. Более того, он хотел ввести не только подробности из работы в «Смерше», но и факты из предыдущей жизни. «Да, мощным потоком включить войну, мою военную биографию... Ладога, бомбежки, ранение...» (22.X. 1976). «Да, герой во многом я. И моя биография: университет, блокада, отпуск, связь с деревней» (27.XI.1976). Но это решение пришло в 1976 году, а первоначально повесть носила более локальный характер.

Заметки к автобиографической фигуре следователя содержат самохарактеристики, которые дают представление о личностных качествах молодого Абрамова. Одаренность, ум, совесть, простодушие уживались с наивно романтической жадой успеха и даже с завистью к преуспевающим службистам.

Привожу наиболее интересные самохарактеристики, сделанные в разные годы.

«Умный, но застенчивый парень, стоявший намного выше своих товарищей», «...и я, филантроп с обнаженным сердцем».

### «Справочник»

Ко мне все обращались за справками. Скажем, война. Новые города. Я знал. История – тоже. Как-то разговорились о царях. Я всех перечислил. Да неужели столько было царей? Или сострили: давно бы надо революцию сделать, не надо бы тогда царей учить».

Не скрывал писатель и тщеславных помыслов автобиографического героя: «хотел подружиться с Алексеевым. Быть прожигателем жизни». «Я завидовал Перову, Кошкареву. Сразу попали на видную работу».

Повесть задумывалась как откровенно исповедальная. На своем примере Абрамов хотел поведать о трагедии военного поколения, которое верило и в догмы социализма, и даже в праведность судов и следствий. Такой самокритичный и исповедально-полемичный характер



носит записка от 22 ноября 1964 года под ироничным названием. «Из моих записок можно подумать, что я подозревал кого-то из моих коллег в преднамеренной жестокости или что я тогда понимал все то, что потом называли бериевщиной.

Нет, хвастать не буду, хотя бы и лестно.

В общем-то, я не задумывался о противоестественности всего этого. Так, может быть, жалость просыпалась свободного человека к заключенному. И только.

И еще мне ужасно не нравились формулы: клеветал на советскую власть и т. д. А человек (в том случае, когда освободили) приехал из колхоза. И сказал: плохо в этом колхозе. Жрать нечего. И я сам знал, что и в нашем колхозе жрать нечего.

И еще в опыте у меня было то, что арестовывали колхозников в 30-е годы. За что?

Тогда я в лучшем случае допускал несправедливость по отношению к отдельным людям.

Это теперь многие уверяют, что они уже тогда все понимали. Нет, я не понимал. И если и оказывал какое-то сопротивление системе (освобождение), то шел наощупь. Повинуясь какому-то инстинкту, врожденному, что ли, чувству справедливости».

О том, что Абрамов «способствовал спасению людей», добивался освобождения невиновных, свидетельствуют не только черновые заметки, но и запись, полемическая, в дневнике 16 ноября 1976 года:

«Я никогда не отказывался от службы в контрразведке, хотя это и пыталась кое-какая писательская тля использовать против меня. Мне нечего было стыдиться. Не поверят: а я ведь освобождал».

Другая дневниковая запись (8 мая 1975 года) подтверждает, что на него было заведено «дело». «Там, в деле, были собраны все мои “левые” высказывания. Например, как, выходя из Дома офицеров вечером в воскресный день, я говорил: “Ну, опять начинаются черные дни”».

Вместе с тем, осмысляя прошлое, Абрамов хотел рассказать и о своих ошибках, о том, что у него был «грех на совести». Он собирался поведать о двух драматических случаях, когда по его вине (пусть даже невольно), по его неопытности и под нажимом начальства арестованные получили больший срок наказания, чем другие. Суть происшедшего конспективно изложена в заметках от 22 января и 31 декабря 1967 года.

Горестные уроки не прошли даром. Расследование по делу брянского партизана Абрамов провел, можно сказать, героически, жертвуя своим положением, рискуя даже жизнью. Это «дело» и должно было стать сюжетной основой задуманной повести. Первоначально писатель даже называл ее «Дело №». Речь шла о гибели партизанского отряда под Брянском. Кто-то в отряде оказался провокатором и выдал отряд немцам. По этому делу был арестован молодой брянский партизан. Единственной уликой были его письма к жене, тоже участнице партизанского отряда, которая осталась в живых. Расследование было начато в Вологде. Дело было на учете в Москве, где ему придавали особое значение. Для завершения следствия дело было передано в Архангельск и поручено Абрамову.

В процессе работы над повестью реальные события, поступки, переживания и сомнения молодого следователя, естественно, могли корректироваться, обрастали новыми деталями и подробностями. В заметках подчас невозможно отделить подлинные события и детали от художественного вымысла.

В первых набросках, сделанных в феврале – марте 1958 года, преобладают заметки, связанные с любовной линией, – увлечение молодого следователя Фаиной, их личные и служебные взаимоотношения. Тогда же писатель перечислял возможных действующих лиц из числа сотрудников контрразведки, намечал некоторые сцены и подробности из быта и нравов контрразведчиков. В те дни он много думал о построении повести, о сюжете, последовательности событий.

Для примера привожу с небольшими сокращениями наиболее подробный сюжетный план, составленный 7 марта 1968 года.

«Сюжет  
О Фаине.  
О себе.  
Вызов к генералу. О генерале. О Васильеве.  
Знакомство с делом. Захвачен. Радужные перспективы.  
Поездка за город. Портреты сослуживцев. Странное поведение Фаины.  
Назавтра – знакомство с делом. Вызов подследственного. Отказ от показаний.  
О психологии следователя.  
Снова вчитывание в дело. Запросы. Кошкарев.  
Снова допрос. Пощечина.  
Васильев нажимает. Дело на учете Москвы.  
Дежурю вместо Алексеева. В кабинете Васильева и генерала.  
Снова допрос. Важно – успех. Было уже освобождение. Это путь к завоеванию Фаины.  
Я подозревал, что, как она ни хорошо ко мне относится, но чины ей небезразличны. А тут орден и пр.  
Снова допрос. Поколеблен.  
Вызывает Васильев. Сообщает: везут арестованную жену. Я вынужден сказать о ходе следствия. Васильев угрожает: мхи.  
Встреча с женой Григория. Я потерял всякую веру. Из следователя превращаюсь в адвоката.  
Как доказать свою правоту? Запрос через Кошкарева в Брянскую область – нельзя. Я иду на риск. Проверяю письма. Ура! Бегу к Васильеву.  
Из Брянской области протест. Срочно в Вологду. Задержать.  
У Фаины опять прилив внимания. Мои дела в гору.  
Арестован шпион.  
Надо увидеть Фаину. Новое потрясение.  
Исповедь шпиона.  
Расставание с Григорием и женой. Смотрю, как они уходят – и все прочь. Опять холод. Стреляюсь?»

Однако замысел повести далеко не сводился к изложению истории расследования запутанного дела. В ходе следствия герой не только распутывал дело, не только выяснял, кто подлинный преступник, он обретал истинные представления о жизни и людях.

О такой направленности повести свидетельствуют заметки 1958 года. 20 февраля Абрамов решает: «Повесть о следователе назвать “Кто он?”» И тут же разъясняет смысл найденного названия: «Кто он – этот вопрос относится не только к агенту, но и к другим лицам (Васильев, генерал, следователь и т. д.)».

Тогда же была сформулирована другая важная проблема, выражающая суть нелегкого прозрения героя: «Крушение прямолинейных оценок и представлений о жизни, о людях».

После 1958 года, когда определились основные события и сюжетная канва, Абрамов почти ежегодно вновь и вновь обращался к задуманной повести. Особенно много важных замечаний было сделано в 1964, 1967, 1969 и 1976 годах. Именно тогда он углублял и обострял мысль о трудностях праведной борьбы и нравственной победы человека.

Стоит заметить, что обострявшаяся мысль Абрамова о необходимости в любых условиях оставаться верным голосу совести и справедливости несомненно связана с его личным опытом, с его писательской судьбой. Ведь именно в 1963–1976 годы его талант и нравственная взыскательность (что, замечу кстати, неразделимо, как бы ни мудрствовали сегодняшние теоретики, отрицающие подобную связь) подвергались испытанию в столкновении с цензурой и тенденциозной критикой. «Вокруг да около», «Две зимы и три лета», «Пелагея», «Деревянные кони», «Пути-перепутья» – все эти книги были выстраданы автором и до, и после их появле-

ния в печати. Повесть «Кто он?» выростала не только из впечатлений военных лет, она вбирала опыт социально-нравственных, исканий писателя в 1960–1970-е годы.

С годами Абрамов все больше и больше искал разгадки происшедшей с нами трагедии не только в тоталитарной системе, но и в поведении, психологии, уровне сознания каждого человека. Он все чаще думал о том, какие стремления и потаенные помыслы руководят поступками людей, что помогает и что мешает каждому из нас жить по совести и справедливости. Эти вечные, наиглавнейшие и каждый раз заново решаемые проблемы в повести «Кто он?» зазвучали бы с особой силой и остротой.

На примере автобиографического героя, молодого человека из студенческого поколения военных лет, Абрамов хотел подчеркнуть сложность и драматизм личности, в которой уживались и бескорыстие, гуманизм, жертвенность, и социальная наивность, доверчивость, неискренность, и книжная романтика, тщеславие, жажда успеха, самоутверждения. А далее – мучительный путь испытаний, самопознания, прозрения, обретение подлинных нравственных ориентиров и ценностей.

Писатель хотел проследить, как менялись настроения, взгляды, устремления молодого следователя, какие внешние и внутренние преграды приходилось ему преодолевать, когда и как происходило отрезвление героя, освобождение от навязанных догм, от суетных желаний, что при этом он должен был изжить, передумать, переосмыслить, перестрадать.

К сожалению, все перечисленное лишь конспективно и фрагментарно изложено в черновых набросках и заметках.

Впервые нравственно-философский смысл этих сцен и всей повести Абрамов подробно изложил 3 января 1963 года:

«Основа вещи – нравственное воспитание молодого человека. Он любит девушку, и девушка, кажется, любит его. И для того, чтобы быть с нею, надо так немного – закончить это дело. Но он жертвует всем: любовью, репутацией, расположением товарищей. И все – ради истины, человечности.

И вот он остался один. Девушка отвернулась. Товарищи смотрят свысока. Начальство готово отдать его под суд (или “списывает” на фронт, или увольняет).

Полный крах. Но он выиграл главное – он выдержал экзамен на человека. Да, именно в то самое время, как все на него смотрят свысока и презирают его, он стал человеком».

Казалось бы, можно было торжествовать и радоваться: восстановлена справедливость. Но в жизни все оказалось более сложно, драматично, даже трагично. Освобождение невиновных принесло молодому следователю не столько радость, сколько горечь, страдания, одиночество. Он вызвал гнев начальства, которое надеялось за это дело получить награду. Он вызвал отчужденность сотрудников, которые вновь смотрели на него свысока, как на неудачника, человека, не умеющего жить. От него все отвернулись, даже любимая женщина.

Страницы, посвященные самоанализу героя после «победы», были бы не только самыми драматичными в повести, но и особо значимыми социально, нравственно, философски. Не случайно автор на протяжении многих лет вновь и вновь уточнял и осмыслял суть происшедшего.

Особенно много заметок было сделано в ноябре-декабре 1964 года, когда сам писатель переживал проработочную бурю за «Вокруг да около». Именно тогда впервые появились polemические строки, направленные в адрес конъюнктурных романов и повестей, где на помощь герою приходят парторг, коллектив, простые люди.

Запись от 28 ноября 1964 года:

«Здесь мне бы хотелось рассказать, как поддержали меня в эти трудные дни парторг, товарищи или люди из так называемого народа (уборщица, дед и т. д.). Но ничего этого не было.

Да, это должно быть исповедью человека, отравленного страхом эпохи.

Человечность ценой величайшего страха. Герой завидует Пашкам, которых никто не мучает, которые живут нормальной человеческой жизнью. А именно той-то жизни (женщина, еда) больше всего хочется ему.

Но почему же тогда, вопреки своим желаниям, он идет на такой риск?

Он мучается оттого, что проявил акт человеческой гуманности, но он мучился еще бы больше, если б он не проявил его. Он знает себя. И в этом все дело».

9 декабря автор вновь объясняет состояние ума и души следователя, и не только атмосферой всеобщего страха, но и разнородностью его собственных чувств и помыслов. Эта запись – одна из важнейших. Потому привожу ее почти целиком.

«Казалось бы, радоваться надо – восстановлена справедливость. Люди на свободе... Но тут-то и начались мои муки. Я был одинок. И одиночество, оторванность от коллектива – страшно. Я и не подозревал, что я прирос к нему.

Вся моя трагедия заключалась в том, что я хотел быть похожим на Пашку, на Алексева и не мог быть похожим. Я завидовал им. Разве мне не хотелось иметь такой же успех у женщин, так же легко жить, как они, уметь прищвартовываться к какой-нибудь кухарке, зав. столовой и т. д... Разве мне не хотелось, наконец, чтобы меня хвалило начальство?

Иногда я ненавидел и Григория и даже женщину в белом платке.

И почему я не могу быть таким, как они? Да, я хотел быть таким же, как они.

Рост маленький? Физические данные не те? Почему я всегда раздвоен? Почему я мучаюсь? Эта моя неполноценность угнетала меня.

Когда это началось? В детстве? (Привезли раскулаченных. Кто мучился? А я мучился.)

Я не говорю о ночных страхах (посадят и т. д.). Если бы я понимал тогда, что в ЧК возможны преступники (Васильев), что парторг может быть кретином.

Нет, я этого не понимал. Все это шло от инстинкта больше, чем от разума. Может быть, люди плохие (рисуют теперь чекистов черными красками)? Нет, люди были не хуже, не лучше, чем все.

Я иногда жалел: ох, если бы я покривил душой, засудил этих людей! Все было бы хорошо. Фаина. Генерал (я его любил). И т. д.

Идти против течения. Тяжело. Может быть, и повесть назвать: против течения?

Может быть, в результате этого дела я возненавидел Васильева, Пашек? Напротив, они стали больше мне нравиться. Я стал в глазах своих еще ниже – вот как это было!

А ведь так хотелось бы написать: один против всех. Гордость.

И т. д. Но ничего этого не было».

Не знаю, был ли в нашей литературе подобный герой, который бы в момент торжества справедливости ощущал себя не победителем, а страдающим, одиноким и даже растерянным человеком, испытывающим пусть минутное, но сожаление в совершенном добром деле и – самое невероятное – чуть ли не зависть к циникам, приспособленцам, которые умеют жить без угрызений совести.

Сейчас с невероятной легкостью иронизируют над поколением, которое в тридцатые – сороковые годы верило и жертвовало собой во имя будущего. Но художникам и мыслителям предстоит еще осознать трагедию людей того поколения, их наивность, просчеты и одновременно силу духа, способность к самопожертвованию, веру в бескорыстие, братство и справедливость. А главное – предстоит еще осмыслить тот мучительный процесс, который совершается по сей день: процесс сомнений и разочарований, самопроверки и самоосуждения, самопознания и горького прозрения в поисках истинного смысла бытия и подлинных человеческих ценностей. Процесс этот долог, труден, ибо требует от каждого переосмысления себя и мира, освобождения от навязанных догм, романтических иллюзий и утопий, требует одновременно сопротивления собственному эгоизму и тщеславию.

Философскую суть повести Абрамов наиболее точно и кратко изложил в заметке от 14 февраля 1969 года:

«Поиски преступника истинного, поиски истины и поиски самого себя.

Кто ты? – этот вопрос относится и к тому, кто преступник, и к самому следователю.

Кто ты? Что ты за человек? И вообще что такое человек».

В тот день у него появилась даже мысль назвать повесть не «Кто он?», а «Кто ты?».

А через год – 26 февраля 1970 года – писатель задал еще один вопрос, который требовал осмысления: «Может ли быть борцом одинокий человек?» И тут же ответил сам себе: «Может! И должен быть борцом».

Показательно, что обе важнейшие заметки сделаны в феврале – в канун дня рождения Федора Абрамова, когда он обычно подводил жизненные итоги, размышлял о смысле бытия, проверял содеянное и задуманное. Вопросы («Кто ты? Что ты за человек?» «Может ли быть борцом одинокий человек?») были обращены и к самому себе, ибо писатель в те годы часто чувствовал себя одиноким, чуть ли не Дон Кихотом.

Усложнившаяся проблематика повести, поиски ответа на вопрос – «что же такое человек», какие бездны и затаенные желания сокрыты в его глубинах, – все это требовало особой формы повествования. Поэтому автор избирает форму исповедивоспоминания, когда прошлое осмысляется через тридцать лет повзрослевшим, умудренным человеком. Он думал даже ввести подзаголовок – «запоздалая исповедь». А 23 апреля 1969 года, размышляя о форме повествования, он записал: «Да, надо писать как записки. Взгляд на прошлое с позиций сегодняшнего дня. И, кроме того, полемика».

Очень много новых заметок и набросков к повести было сделано в 1976 году. Именно тогда автор окончательно решил отказаться от «всякой беллетризации», писать «просто записки». Тогда же он находит новое начало, решает ввести «вступление» – рассказ о вечере встречи ветеранов контрразведки в день тридцатилетия Победы.

В данном случае писатель вновь использовал автобиографические факты, опирался на личные впечатления и переживания. Весной 1975 года его неожиданно пригласили на вечер встречи ветеранов по случаю тридцатилетия Победы. О том – запись в дневнике 26 апреля: «... отправился на вечер встречи ветеранов контрразведки в Доме офицеров. Славословили, возносили друг друга, пионеры приветствовали... Герои незримого фронта, самые бесстрашные воины... Верно, кое-кто из контрразведчиков ковал победу, обезвреживал врага... Несколько среди них костоломов, тюремщиков, палачей своего брата... Я не мог смотреть на этих старых мерзавцев, обвешанных орденами и медалями, истекающих сентиментальной слезой... Ушел».

Эту встречу Абрамов вспомнил через год, делая новые заметки к повести 16 ноября 1976 года.

«Как писать? Может, без всякой беллетризации? Просто записки.

30 лет Победы. Позвали на празднование контрразведчиков. В Центр, лектории (см. дневник).

Что общего у меня с ними?

Кто они? Преступники? Пенсионеры? Неужели ничего не поняли? Кичились. Гордились. А может, у нас что не так. Послушать их – сплошь шпионов разоблачали. Пионеры приветствовали.

Я слушал, слушал. И решил написать. Вернее, у меня давно был замысел. Только это собрание дало форму.

Да, такое вступление неплохо. Повествование ведется 30 лет спустя. А это дает возможность перебивки. Дистанция дает право на осмысление».

19 ноября автор набрасывает вариант начала под названием «Вступление»:

«На празднике чекистов в честь победы.

Слезы умиления у старичков, когда заговорили про заслуги. А он-то знал, что у большинства за заслуги. Костоломы – не на победу работали, а на Гитлера (не приближали победу, а отодвигали). А насчет того, что разгадали расчеты врага – так и вовсе ерунда.

Кретины. С чистой анкетой. Нигде столько дураков не встречал, как в контрразведке.

Он не стал дожидаться концерта – ушел...»

В тот же день автор поправляет себя в другой заметке: «Не надо обнаженных выпадов. Спокойно».

Через два года 16 декабря появляется новая заметка о той встрече – «На празднике». В ней снова звучат жесткие интонации.

«Дети приветствовали... Палачей. И тут я встал. Не мог уже терпеть.

В перерыв расхаживали с сознанием исполненного долга. Но я-то знал, что они все значили. У каждого руки в крови.

Торжествовать ли сегодня надо было? Молебн по убиенным. И раскаяние».

Найденное вступление и форма исповеди-воспоминания должны были придать повести большую глубину и масштабность. Поведение и сознание молодого следователя, осмысляемые через много лет, приобретали новые детали и социально-нравственные мотивы.

Примечательна запись от 22 ноября 1976 года:

«События в тыловом городе. Но герой все время мыслит масштабами страны.

В “Смерш” большинство тех, кто не был на фронте, а он был. “Смершовцы” шкуру спасают, а его товарищи-студенты... Все полегли. И это часто решающий аргумент...

В решающие минуты всегда все судит судом убитых. И в них же черпает силу.

Ну хорошо, убьют и т. д. А чего бояться? Ведь товарищи его там. Ему и так повезло. Вообще страшно везло. И тут – мою биографию».

А 29 ноября, думая о концовке повести, автор снова подчеркивает нравственную связь героя с фронтовым студенчеством. Следователь «мучительно ждет решения своей судьбы – написал заявление о посылке на фронт. И вдруг милость: просят остаться в органах, добродушный генерал.

Нет, его место там, со своими товарищами. С идеалистами. А что общего у него со всеми этими людьми? Может быть, они посвоему и хорошие. Сложен человек! Очень! Пусть. Но он туда, туда должен».

Но самым сложным и трагическим для сознания молодого следователя был вопрос о гуманизме, о человечности, о соотношении догм чекистской работы с велениями совести. Сохранилось несколько черновых набросков, где герой сопоставляет требования и указания высших чинов контрразведки с довоенными университетскими лекциями. На одном полюсе – беспощадность, на другом – сострадание, человечность, истина. Спор и столкновение двух взглядов происходят на теоретическом собеседовании. Подполковник Васильев выступает против жалости, которую не раз проявлял следователь, и твердо отстаивает тезис высших чинов (Ежова, Берии): «Лучше арестовать 100 невиновных, но задержать среди них хотя бы одного подлинного врага». Выражая сомнение, следователь подает реплику: «Но так можно пересажать всех советских людей». Васильев продолжает настаивать: «Мы арестовывали 100, а один неарестованный враг может вывести из строя 100 тысяч наших бойцов танком? Во имя этих 100 тысяч будем проливать слезу?»

В этот момент следователь и вспоминает студенческие годы. «Я вспомнил Достоевского. О слезках ребенка. Всерьез, как всерьез об этом говорил лектор!

Но сейчас все это не годилось. Да и вообще, получалось, весь гуманизм XIX века, который таким чудным светом осветил все человечество, весь мир, – по Васильеву, все это было вредно. Все это нужно отбросить... В университете на семинаре разрешалось спорить. Старый преподаватель (чудак) говорил: в науке есть одна царица, перед которой все должны пасть на колени, – истина».

Поиски истины, противостояние человечности, гуманистических идеалов и бессердечия, жестокости, демагогии должны были стать в повести важнейшими, доминирующими проблемами. Они до конца дней мучили писателя.

При этом Абрамов уходил от упрощенного, прямолинейного противопоставления добра и зла, от примитивного, доктринерского обличительства. Он хотел рассказать, что и следовательно невольно оказывался причастным к вершителям зла, попадая в ловушку следственной казуистики, поддаваясь, казалось, убедительной логике начальства. Такова история двух «несчастных» случаев, когда он уговорил подследственных признать вину.

Наряду с центральной фигурой молодого следователя в повести значительное место отводилось другим сотрудникам контрразведки, поведение и судьбы которых тоже пытался разгадать писатель.

В одной из заметок (31 декабря 1967 года) Абрамов не без полемического задора писал: «Чекисты, люди контрразведки. Кто они? Злодеи, как изображает их Солженицын? Были и злодеи. А в массе-то своей – обыкновенные люди... Нет, это были не злодеи. Злодеи бы – проще».

В многочисленных заметках-характеристиках, заметках-размышлениях писатель и пытался уяснить, что собой представляли эти «обыкновенные люди».

При всем их различии – по характерам, образованию и служебному положению – судьба почти всех сложилась драматически, жизнь была исковеркана. Уродливый, нелепый, поистине преступный подбор кадров по «чистой» анкете, по крестьянскипролетарскому происхождению без учета способностей, господствовал в нашей стране и в армии, в органах контрразведки в том числе, что калечило умы и души людей, и без того подавленных страхом и демагогией.

Автору предстояло еще найти способ включения многих персонажей в жанр исповеди-воспоминания. В архиве остались лишь портретные заготовки, не связанные воедино сюжетно и композиционно.

Исключение составляет молодая сотрудница Фаина, которую поначалу идеализировал герой.

История их взаимоотношений дополняет и усложняет путь самопознания и прозрения следователя, преодоление им книжной романтики, прямолинейных суждений.

Романтическая влюбленность оборачивается гневным и скорым осуждением женщины, когда он узнает неожиданно, что Фаина была любовницей то ли Васильева, то ли генерала. Охваченный негодованием и ненавистью, он тут же бежит к ней домой, врывается в квартиру, чтобы высказать свое презрение, разоблачить ее притворство. Но жизнь оказалась сложнее.

«Я вбежал в комнату, не стучась. Фаина стояла в старом платье и мыла в корытце ребенка. Вокруг нее жались еще три ребенка. (Так вот откуда у нее руки потрескиваются.) Я ничего не сказал».

В другой заметке характер и поведение Фаины еще более драматизированы. «Очень гордая», она «отдалась Васильеву», ибо тот «знает о прошлом отца. А отец был раскулачен. Хотя отец ушел от них раньше, но пятно. А если выгонят из “Смерша”, что ей делать с детьми, оставленными матерью?»

Писатель хотел ввести сцену, где Фаина и герою предлагает идти на компромисс: «бросить все эти глупости, жить как все». «Может быть, ты и прав, – замечает она. – Но я не могу. Я устаю. Я устала бороться за свою семью – их кормить надо. И потом – я хочу жить... Жить. Мне уже 26 лет».

Трудности надломили Фаину. Герой, отказываясь от прямолинейного суда («Да и что осуждать, когда кругом смерть?»), готов оправдать ее. Но на память приходит другая, несломленная женщина – Мария.

«Но ведь та, другая, не стала такой приспособленкой?» – думает следователь и делает вывод: «Нет, понять можно, оправдать нельзя».

Разгадывая судьбы и характеры других сотрудников, Абрамов продолжал выяснять, что движет их поступками, как влияют на поведение людей не только служебная атмосфера страха и подчинения, но их собственные побуждения и стремления, их жизненные установки.

Наиболее человечным предстал бы в повести генерал, который отличался простотой, незлобивостью. Он не был большой загадкой для писателя. Автор видел в нем добродушного человека, вышедшего из низов («из пастухов»), не утратившего человечности и какойто детской непосредственности. «Генерала у нас любили за простоту, за безвредность», – замечал Абрамов, хотя было известно, как мало разбирается он в делах.

Больше всего заметок посвящено подполковнику Васильеву – самому честолюбивому и жестокому человеку, который презирал не только арестованных, но и подчиненных, на всех смотрел свысока. Даже на генерала, который, казалось ему, занимает не свое, а его место.

«Васильев – полная противоположность генералу. Его не любили все, но боялись.

Если генерал несколько стеснялся своего чина и генеральских атрибутов, то Васильев, напротив, тяготился своим подполковничьим чином. Страдал!

Он рассуждал, видимо, так: если начальство меня недооценивает, то, по крайней мере, я сам должен позаботиться о себе, разумеется, в пределах допустимого уставом. И потому зимой он носил не обычную подполковничью ушанку (с серой смушкой и сукном), а ушанку, шитую на особый заказ: серый барашек, кожаный верх, о шинели и говорить не приходится: по сукну она едва ли уступала генеральской – коричневого цвета. И где только взял? Больше того – Васильев раздобыл бурки, здесь уж он перешагнул устав. Впрочем, валенки разрешалось носить на севере. Но он, конечно, не опустил до этого... Труднее было летом.

Фуражку – зеленого сукна с красным околышем никак не усовершенствуешь. Ее носили даже полковники. И если бы даже Васильев и придумал что-нибудь, то это сочли бы за дерзость. (Слишком уж бросалось бы!). Он знал границы допустимого. Но Васильев нашел другой выход.

Летом он обычно носил фуражку в руке, а чтобы это не вызывало подозрений у комендантского надзора (патруля), он шел и через каждые несколько шагов вытирал лицо платком.

– Жарко! Имеет же и военный право на человеческие слабости. Впрочем, летом Васильев предпочитал ходить по пустынной набережной. Комендантский патруль туда обычно не заглядывал и можно было не прибегать к платку.

Что касается костюма, то здесь выход был более простой. Вместо хлопчатобумажной гимнастерки и шаровар он носил габардиновую пару – тонкого габардина – того же цвета. Ни орденов, никаких украшений. Только один значок чекиста на левой груди против сердца. Меч, рассекающий гидру! Это было внушительно и сразу же обращало на себя внимание.

Вообще Васильеву совсем незачем было бояться потеряться среди подполковников. Помимо тех усовершенствований в туалете, о которых я говорил, Васильев обладал неповторимой походкой, которая вполне компенсировала генеральский чин.

Он ходил медленно: голова не шелохнется – хоть стакан воды ставь. Ноги несколько выпуклые. Тело, что называется, нес на ногах.

И если глядишься в значок чекиста, казалось, сама Немезида – бесстрастная и неподкупная – шагает по земле».

Из других многочисленных заметок любопытна та, где Васильев демагогически рассуждает о праве и диалектике.

« – Правда – понятие диалектическое. И вообще любил при случае повторять:

– Диалектика, диалектика, Абрамов. Диалектики не знаешь. А диалектика у него так: если выгодно, – с одной стороны. А невыгодно для себя – с другой стороны. Диалектику поворачивает к себе выгодной стороной. Диалектика – всегда оправдание себя».

Другой пример, как «Васильев извлекал практические выводы из законов диалектики» и утверждал, что в «человеке надо видеть потенциального предателя».

« – Черта третья. Переход количества в качество. Особенно важная для нас, чекистов.



Как развивается преступник? Сегодня он сболтнул что-нибудь или совершил преступление не столь тяжкое. Но ты смотри в будущее, ибо для марксиста не столь важно то, что сегодня, сколько то, что будет завтра. А завтра этот обычный преступник может превратиться в контрреволюционера. Простое уголовное преступление может перерасти в политическое. Какой вывод должен извлечь из этого чекист? Не жалеть преступника. Знай, что перед тобой сидит мерзавец, который развивается. Никакой размагниченности...»

Размышляя о разных типах карьеристов, о их высокомерии и одновременно угодничестве перед высшим начальством, писатель подмечал, к каким ухищрениям прибегали они, чтобы подчеркнуть свое превосходство, «избранность», удовлетворить непомерное тщеславие. Такова запись-размышление от 7 марта 1958 года: «О подписях начальства.

Подпись для начальника – великое дело! Каких я только подписей не видел! Крючки, завитушки, палки. Художничество!

Я уверен, каждый начальник потрудился немало над тем, чтобы выработать подпись. Мне приходилось не раз видеть, какое магическое воздействие производит подпись на человека.

Общее свойство росписей – их невозможно прочесть... Первая подпись главного начальника всегда покрывает остальные подписи – людей, стоящих ниже рангом. Хорошо, если у главного начальника крупная подпись. А если мелкая? В этих случаях чиновнику более низшего ранга приходится приноравливаться. И как бы ты, например, ни привык к размашистой росписи, ты должен подавить в себе эту размашистость. Чтобы твоя подпись была более заметна, чем первая, – нет, это невозможно.

Впрочем, как я заметил, заместители выходят из этого положения без особых затруднений. И это потому, что они выработали две подписи: одну для тех бумаг, где они выступают в роли головного начальства (здесь начальник дает себе волю), другую для тех бумаг, где начальник выступает в роли заместителя.

Что мне нравилось в генерале – он подписывался без украшательства. Пожалуй, его подпись была единственной, которую можно было прочитать без расшифровки. Думаю, что Васильев презирал его за это.

Что касается самого Васильева, то он обычно бумаги, идущие за подписью: “Зам. начальника отдела...” подписывал так, что хвостом от буквы “В” перечеркивал “зам”...

Карандашом какого цвета расписывался Васильев? Красным? Нет, помнится, простым карандашом. Уж и здесь не было ли желания выделить себя? Да, один Васильев подписывался простым карандашом».

Среди сотрудников ниже рангом Абрамова поражали истовые службисты-исполнители и службисты-властолюбцы, которым доставляло наслаждение держать всех в страхе, властвовать над людьми, следя за ними повседневно и повсеместно, собирая разного рода компромат. Таков Рудиченко: «С усиками. С загадочной улыбочкой. В своих руках держал судьбы всего отдела».

Особо значимой фигурой – и социально и психологически – мог стать в повести следователь Перепелица, он же – парторг. С иронией замечал писатель, что в недремлющем оке контрразведки было свое «недремлющее око» – Перепелица, который следил за своими же сотрудниками. Больной, язвенник. «Но насмерть работал». Может, предполагал Абрамов, потому так и охотился за всеми. Из зависти к здоровым. Всех здоровых ненавидел... Удовольствие поймав. Этой работой стал бы заниматься задаром.

Совсем иной характер – у Алексеева, которому долгое время завидовал молодой следователь. Жизнелюбивый, неунывающий красавец, «поэт и Дон Жуан» и вместе с тем – циник, приспособленец. Он не только расчетливо заводил знакомства с «хлебными и продовольственными работницами», но заранее проверял их анкетную безупречность.

С горечью и сожалением упоминает автор о тех усердных, но малограмотных рабочих, которые стали жертвами нелепого подбора кадров по «чистой» анкете. Пример порази-

тельной малограмотности: следователь Бувев «не знал, как писать мать. С мягким знаком или без. Одним словом – “мать” путал с матом».

Основные портреты сослуживцев Абрамов набросал еще в 1958 году и тогда же, споря с возможными оппонентами, заключал: «Я описал несколько портретов. Представляю, какой поднимется вой. Поклеп, клевета. А где же положительные? Нет, это не выдумка. Эти люди работали и делали большое дело – всяко, конечно, бывало, немало и дров ломали, но делали...»

Свидетельствуя о неприглядном облике многих сотрудников, писатель отмечал и то подлинно высокое, неподкупное, что всех объединяло. 28 февраля 1958 года он записал:

«Вот что самое главное. Все – и прожорливый, вечно голодный водопроводчик Чувакордзин, и я, филантроп с обнаженным сердцем, и обольстительный Алексеев, и Перов, и тупица Кошкарев, и самовлюбленный Васильев, и генерал, и Фаина, спасающая детей от голодной смерти за счет своего тела, и Рюмин и др. – все главные свои силы и помыслы направляли на разгром врага.

И как ни существенна была разница в их положении и прочем, они действительно составляли один лагерь... Всех их объединяло желание победы, ненависть к врагу. Разница лишь в том, что одни были лишены всего, другие жили такой жизнью, при которой можно было удовлетворять свои личные потребности».

С годами писатель более сурово оценивал контрразведчиков, вносил коррективы в их портреты, пытался осмыслить их вольную или невольную вину, их трагедию. Он намеревался в финале повести рассказать о судьбах сослуживцев через тридцать лет. Все оказались изломанными. Одни спились, других расстреляли, третьи живут неприкаянными, неустроенными. «Не удалась жизнь».

Абрамов много думал и пытался объяснить, почему обычные, неплохие зачастую люди становились пособниками и вершителями зла. О том – конспективная запись-размышление от 31 декабря 1967 года, где доказывалось, что среди чекистов далеко не все были злодеи.

«Были и злодеи. А в массе-то своей – обыкновенные люди. Елисеев, Иван Андреевич Лавров, Марья Ивановна. Старушка – кого она сама по себе обидит? И даже Бувев, Алексеев, которые наиболее ретиво исполняли свои обязанности. Ведь у них были жены, дети. И они любили их. Наставляли детей. Чтобы были честными, учились хорошо и т. д.

Нет, это были не злодеи. Злодеи бы – проще. А в том-то и дело, что эти люди, которые искренно любили, переживали, входя в “Смерш”, становились другими.

Во-первых, большинство из них по малограмотности, ограниченности своей искренно верили, что они действительно борются с врагами. А с врагами какая пощада.

Во-вторых, гипноз. Арестован – значит виноват. Пусть не во всем – но виноват. И поди попробуй освободить. Своя собственная бумага, написанная человеком, гипнотизировала его же.

В-третьих, если и появлялось у людей сострадание, то они думали, что они недостаточно революционны, что это сострадание и жалость предосудительны. А как же? Сам пролетарский писатель заклеил жалость как унижающее человека чувство. И, следовательно, если они и жалеют, то потому что недостаточно подкованы. И наконец, страх. Не выпустить врага. Лучше засудить 100 безвинных, чем пропустить одного врага. А потому закидывай невода. И не верь, если тебя уверяют, что он не прав.

Доказательства? Доказательств нет. Но, во-первых, большинство следователей не искусны, неграмотные (может быть, их поэтому и не учили?), а во-вторых – коварство врага.

Гипноз – служение революции.

Солженицын говорит, что чекисты хорошо ели, легко работали. Может быть, в лагерях – да. А у нас в округе – ужас. Как раз наоборот, офицеры в воинских частях не голодали. Им перепало с солдатской кухни. А нам – нет. Правда, генерал и Васильев были сыты. И начальники отделений».

30 июня 1973 года к этим рассуждениям добавились новые:

«В “Смерш” были разные люди: грамотные, кретины и т. д. И кое-кто понимал, что люди, попадавшие туда, никакие не враги и не шпионы.

Ведь то, что им предъявлялось в качестве обвинения (говорили в колхозах, не было оружия на фронте в первые месяцы войны), обо всем этом они говаривали или думали и сами. Но таков автоматизм мышления, который действовал в этой системе: раз попал, надо осудить. Ибо освобождение – брак, и на наказание в 10 лет смотрели как на какую-то норму. И к тем не было никакого интереса... Оуждали автоматически, часто без всякой злобы».

Вообще Абрамов неоднократно возвращался к преступным установкам и методам следственной работы, которые тянулись от репрессий тридцатых годов. Еще в 1958 году он с возмущением писал: «Дико: работа оценивается по количеству арестов. Отсюда – злоупотребления». Писатель собирался деятельность контрразведки военных лет сопоставить с преступлениями 1937 года, хотел ввести в повесть «тип следователя того времени».

В январе 1965 года в заметке «Сталинские принципы следовательской работы» автор кратко излагал те установки, исполнять которые требовали Вышинский, Ежов, Берия, а в повести – Васильев.

«В деле нет состава преступления. Человек невиновен. Но где формальные (документированные) доказательства его невиновности? Да, вина человека не доказана. Но ведь не доказана его и невиновность.

Для того чтобы освободить подсудимого, надо доказать его невиновность, хотя бы в деле и не было доказательств его виновности. А это не входит в функции следователя. Он не адвокат.

Следователь в “Смерше” выполнял роль прокурора. Предполагается заранее, что арестованный человек – враг».

Но Абрамов избегал огульного осуждения чекистов. Более того, он подчеркивал, что в их среде было такое же социальное расслоение, как во всем обществе. О том – полемическая запись 3 октября 1980 года:

«О привилегиях “Смерш”.

Считается, что работники НКВД, а следовательно, и “Смерш” образовывали особую элиту, которая пользовалась особыми привилегиями. Враки!

Да, Голованов и Васильев имели привилегии и зав. отделами – снабжались лучше, а что касается рядовых – только что с голоду не пухли. 600 граммов хлеба, тощий приварок – что это за питание для молодого мужика, работающего по 12–15 часов в день?»

Но значение повести не только и даже не столько в исследовании трагического бытия человека в условиях тоталитаризма. Значение и глубинный смысл повести – в поисках форм и путей противостояния злу, в поисках истины и достойного человеческого поведения. Может быть, потому и считал писатель «повесть о следователе» своей лучшей вещью, что в ней он особое внимание обращал именно на процесс самопознания и самосознания, самосовершенствования личности.

Абрамов был убежден: путь к улучшению мира пролегает через ум и сердце каждого человека. Мир будет лучше или хуже в зависимости от совести, от поведения, от сознания и эмоциональных реакций каждого из нас.

Еще в 1976 году в речи на писательском съезде Абрамов говорил: «Нельзя заново возделывать русское поле, не возделывая души человеческие». В тот год он как раз много думал о повести «Кто он?», именно тогда назвал ее лучшей.

Экономическое благосостояние – был убежден писатель, – невозможно без духовного оздоровления общества, социальными средствами невозможно обновить. <...> Нужен одновременно второй способ. Это самовоспитание, строительство своей души... каждодневное самоочищение проверка своих деяний и желаний высшим судом, который дан человеку – судом

собственной совести». Главная суть повести, пожалуй, и состояла в том, чтобы помочь читателю осознать и почувствовать, сколь необходим и одновременно тернист, труден этот путь самосознания, поисков истины, созидания человека в самом себе.

### **Ольга Берггольц**

*Впервые: Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979; Соч., т. 3, под названием «Слово у гроба».*

Слово было произнесено на гражданской панихиде по Ольге Берггольц в Ленинградском Доме писателя им. В. В. Маяковского 18 ноября 1975 года.

В архиве писателя сохранилась еще заметка к портрету Ольги Берггольц, датированная 26 марта 1982 года:

«Какой-нибудь любитель исторических сравнений, возможно, назовет Ольгу Берггольц Жанной Д'Арк блокадного Ленинграда, Луизой Мишель, героиней Парижской коммуны. Не надо. Ольга Берггольц не нуждается в подпорках, чтобы встать выше. Она неповторима, как ее биография, ее судьба. Как подвиг блокадного Ленинграда. И потому бессмертна.

Она умерла, чтобы шагнуть в бессмертие. И она будет так долго жить в памяти людей, доколе стоять будет город на Неве».

### **Мы и сегодня живы ими**

*Впервые: Ленинградский университет. 1979. 12 янв.; Соч., т. 3.*

*Быть достойным их памяти...*

### **Быть достойным их памяти...**

*Впервые: Сов. Россия. 1980. 1 мая.; Соч., т. 3.*

### **Ответы на вопросы газеты «Советская Россия». Ответ читателям**

*Впервые: Лит. газета. 1985. 6 марта.*

Весной 1982 года Абрамов собирался написать статью «Ответ читателям». 21 июня он сделал публикуемый набросок к будущей статье, в которую должны были войти и размышления писателя на другие темы.

### **Т. Голованова**

### **«Страница незабываемой молодости»**

*Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП., 2000. С. 44.*

### **В. Гапова**

### **«Одна зима»**

*Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП., 2000. С. 54.*

**М. Каган**

**«На войне и после»**

*Впервые: Воспоминания о Федоре Абрамове. М.: СП. , 2000. С. 74.*

**«Суровые и светлые годы филфака»**

**(Из статьи Антонины Рединой)**

*Впервые: Аврора. 1978. № 5.*

**А. Б. Кононов**

**«О службе Ф. А. Абрамова в органах контрразведки»**

*Впервые: На страже безопасности Поморского Севера. Архангельск, 2003. С. 174–182.*